

Яков Бутович

ЛОШАДИ МОЕГО СЕРДЦА

Из воспоминаний коннозаводчика

**Яков Иванович Бутович
Дмитрий Михайлович Урнов
Ю. Палиевская
Лошади моего сердца. Из
воспоминаний коннозаводчика**

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8643740

Я.И. Бутович. Лошади моего сердца. Из воспоминаний коннозаводчика: Издательство им.

Сабашниковых; Москва; 2013

ISBN 978-5-8242-0134-5

Аннотация

Яков Иванович Бутович (1882–1937) – организатор одного из лучших конезаводов страны, создатель единственного в мире частного музея «Лошади», один из лучших специалистов в России по разведению племенных лошадей, автор ряда трудов по племенному коневодству, а также редактор и издатель журнала «Рысак и скакун».

В своих воспоминаниях автор предстает как предприниматель, участник двух войн, одна из них – Мировая, свидетель трех революций, одна из них – Октябрьская, помещик, подвергшийся экспроприации и ставший совслужащим, чтобы сохранить гордость России – Орловского рысака.

Содержание

От составителей	6
Фотографии	8
Касперовка и кадетский корпус	26
Картины далекого прошлого	26
Спокойные времена	33
Счастливое лето	36
Событие в корпусе	39
Соловейчик и Спарта	41
Дело о Рассвете и смерть отца	42
Училище – Полк – Война	44
Кавалерийское училище	44
Отпускное время	45
Коннозаводские журналы	46
Выход в полк	47
Образцовое хозяйство	49
В действующей армии	51
Друг, которого трудно забыть	52
Бицилли и «Бережливый»	55
На сопках Манчжурии	56
Война проиграна	59
Печальный инцидент	63
Устои потрясены до основания	64
Москва – Киев – Москва	65
Беговое общество	65
Орловцы и метизаторы	67
Поездка под Киев	69
Большой Всероссийский приз	70
«Рысак и скакун»	72
Обитатели Красного флигеля	77
Коноплин и Телегин, Малютин и Коншин	82
Союз Орловцев	93
Продолжение моей коннозаводской деятельности	94
Заграница – Конский Хутор – Прилепы	95
Европейское турне и возвращение	95
Покупка Прилеп	99
Обязательные визиты	104
В своем имении	106
Соседи	108
Всероссийская конская выставка	123
Дома	123
На Ходынском поле	125
Съезд коннозаводчиков	128
Опять в Прилепах	131
По конным заводам	133
Конец ознакомительного фрагмента.	145

Яков Иванович Бутович Лошади моего сердца. Из воспоминаний коннозаводчика

*Ne perdons rien du passe
Ce n'est qu'avec le passe
Qu'on fait l'avenir.*

A. France

*Мы ничего не теряем из прошлого, потому что прошлое мы
берем в будущее.*

A. Франс

Составители

Д. Урнов, Ю. Палиевская

Редактор

Л. Заковоротная

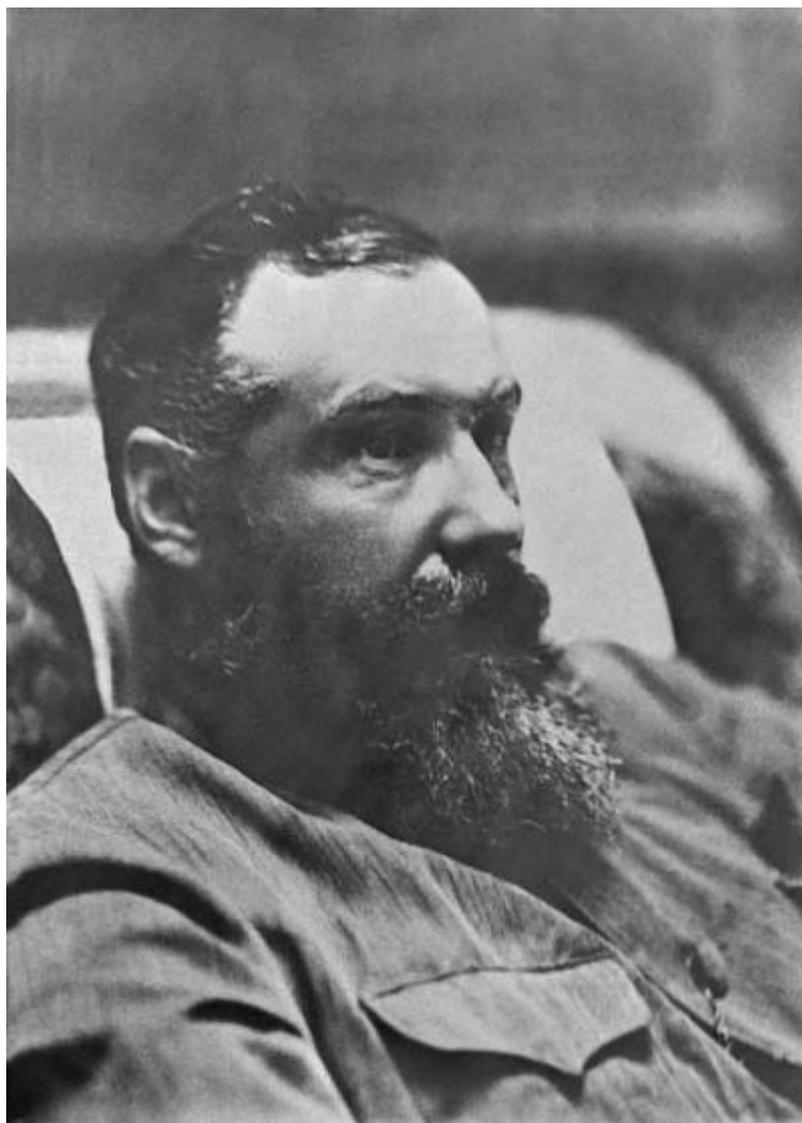
© Издательство им. Сабашниковых, 2013

© Д. М. Урнов, Ю. В. Палиевская, составление, 2013

* * *



«С каждым разом пламя поколений вспыхивает вновь».



Яков Иванович Бутович

От составителей

Владелец конного завода, коллекционер картин и постоянный сотрудник коннозаводских журналов, Яков Иванович Бутович (1881–1937) принялся писать о том, что составляло смысл его жизни, когда вынужден был со всем этим расстаться. Вскоре после Октябрьской революции ему пришлось отдать Советскому государству и конный завод, и картинную галерею. Бутович приложил много усилий, чтобы сохранить то, что создавал всю жизнь – и не для себя; он считал свою деятельность важной для страны, отечества. Кругом шла решительная ломка старого, и ради самозащиты от слишком рьяных преобразователей и в интересах конного дела он решил объяснить, в чем заключается общенациональная ценность собранных им конных картин и выращенных лошадей.

Назначенный хранителем собственного художественного собрания из семисот полотен, а затем и управляющим своего бывшего завода в Прилепах под Тулой, Бутович взялся за описание составленной им уникальной галереи, которую называл иппической (от франц. *hippique* – конный). Затем он задался целью описать состав своего завода, но его рысаки были кровными узлами связаны с рысаками, рождёнными в других заводах; поэтому, желая проследить развитие породы, Бутович стал описывать состав и других заводов, успев рассказать о более чем 35 хозяйствах. Кони и картины стали связующей нитью повествования. В те времена лошади являлись неотторжимой частью всего жизненного уклада России, и коннозаводчик создал хронику, отражающую не только реалии частной жизни автора, но и историю целой эпохи.

Чем больше Бутович погружался в прошлое, тем меньше оставалось у него надежды, что написанное когда-либо будет опубликовано, однако он продолжал писать даже в условиях тюремного заключения, после ареста в 1928 году. Бутовича переводили из одной тюрьмы в другую, затем – в лагерь, где специальные знания опытного коневода использовали по назначению: возили под конвоем в конные заводы отбирать лошадей для ГУЛАГа. Именно в ту пору Бутовичу удалось передать свои рукописи доверенным лицам, а в 1932 году, выпущенный на свободу, он сумел получить их обратно. Работал ли Бутович над воспоминаниями в годы между освобождением и новым арестом, это, как и обстоятельства его второго ареста, неизвестно. Бутович был вторично арестован в августе 1937 года, в сентябре приговорен к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян.

Немного найдется человеческих документов, которые бы так объективно, как мемуары Бутовича, рассказывали о тех механизмах, которые определяли время, разделившее жизнь России на «до» и «после». Крупнопоместная идиллия, революционный взрыв, современники – друзья и враги – и он сам, представленный с непосредственностью, быть может, даже превосходящей его намерения, – по выразительности эта панорама достойна сравниться с произведениями классической русской прозы. Пишет ли Бутович как мемуарист-бытописатель или же как эксперт по коннозаводству, он остается иппическим поэтом, со своим неподражаемым стилем повествования.

Основным хранителем «тюремных тетрадей» Бутовича стал директор Пермского конного завода № 9 В. П. Лямин (1898–1984). Скорее всего Бутович вручил ему рукописи, когда оказался на Урале во время одной из своих подконвойных поездок, которые он называл «командировками». После Лямина рукописи хранил его родственник и преемник на директорском посту А. В. Соколов (1922–1999). В 2003–2010 гг., благодаря самоотверженному труду энтузиастов, специалистов-иппологов и любителей лошадей, большая часть воспоминаний была наконец издана в трех томах...

Замысел настоящего издания принадлежит инженеру-строителю и коннозаводчику Клименту Николаевичу Мельникову, который совместно с другими вкладчиками финан-

сировал издание трехтомника. Задача данной книги – представить имеющее общекультурное значение ядро воспоминаний. В мемуарах, ближе к концу уцелевших рукописей, Бутович говорит, что им написано несколько тысяч страниц. Это изложение пестрит схемами и подробнейшим описанием родословных, «лошадиными» именами, которые, как признает Бутович, он и произнести не может без волнения, но те же имена производителей и заводских маток мало что скажут читателю, далекому от конного дела.

Данная книга составлена на основе нескольких источников. В первую очередь это, конечно, три тома «Воспоминаний»: «Мои Полканы и Лебеди» (Пермь, Издательство «Тридцать три», 2003), «Лошади моей души» (Пермь, Издательство «Книжный мир», 2008) и «Лебединая песня» (Пермь, Издательство «Книжный мир», 2010). Сокращения сделаны за счет сугубо коннозаводских разделов.

Текст дополнен фрагментами из заводских тетрадей, 1-й том которых «Архив сельца Прилепы» уже подготовлен к печати К. Н. Мельниковым. Использованы и материалы Бутовича, опубликованные ранее в периодических изданиях. Это обширная глава из его рукописи «Коннозаводские портреты Н. Е. Сверчкова», различные части которой печатались в журнале «Коневодство и конный спорт» (1975, №№ № 8 и 10–12), а также в альманахе «Прометей 12» (Москва, Издательство «Молодая Гвардия», 1980). Также в книгу помещена «Гибель Крепыша» – из истории завода, где родился «король русских рысаков». Разбирая родословную рысистого «короля», перечисляя до седьмого колена его предков, Бутович стал размышлять о трагической судьбе великого рысака и отвлекся, а «диверсии», как называл сам автор эти отклонения от темы, составляют необычайно привлекательную особенность конюшенных рассказов и разговоров. Так получился целый очерк о том, как оборвалась жизнь легендарной лошади. Озаглавлены и опубликованы эти страницы были в изданном Содружеством рысистого коневодства сборнике «Крепыш – лошадь столетия» (Москва, Издательство «ИппикСинтезполиграф», 2004).

По мере работы над текстом составители книги испытывали чувство благодарного изумления перед теми, кто, можно сказать, воскресил и открыл «Воспоминания коннозаводчика». Это, прежде всего, хранитель рукописей Бутовича зоотехник А. А. Соколов и проделавший расшифровку рукописей журналист С. А. Бородулин. Без самоотверженных усилий этих двух подвижников воспоминания не увидел бы свет.

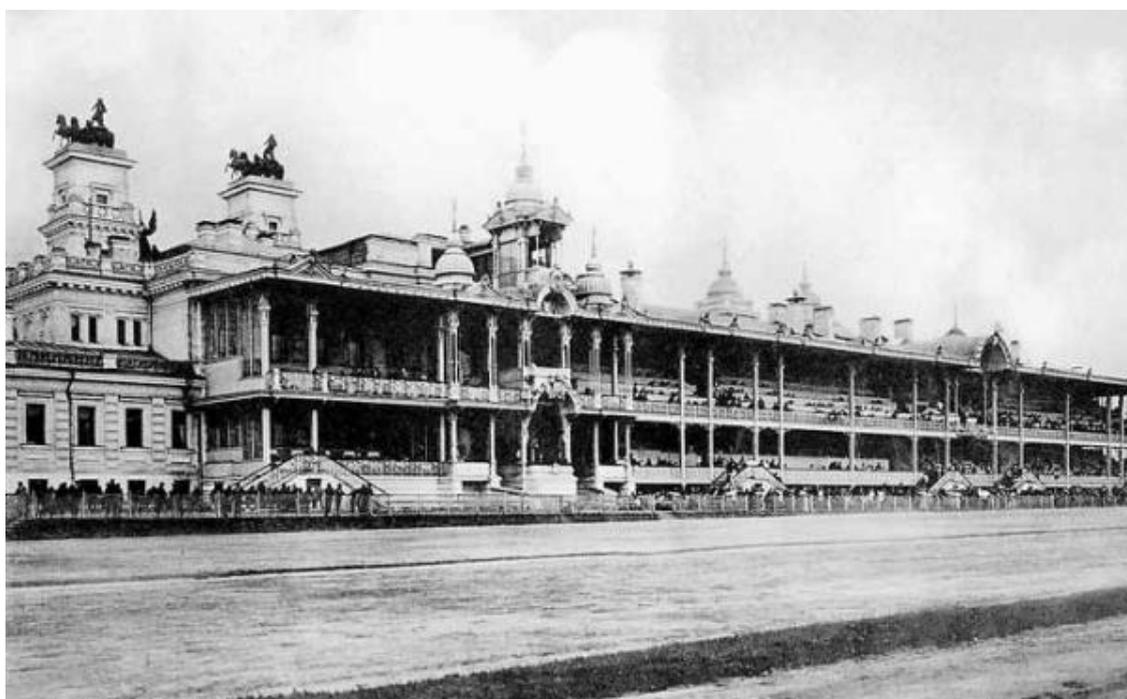
Фотографии



Великий князь Дмитрий Константинович, главноуправляющий государственным коннозаводством, владелец Дубровского конного завода.



Генерал-майор Федор Николаевич Измайлов, председатель Всероссийского союза коннозаводчиков и любителей орловского рысака.



Трибуны Московского бегового общества.



Генерал-майор И. П. Дерфельден, управляющий Хреновским конезаводом.



Администрация Всероссийской конской выставки в Москве. 1910 г.



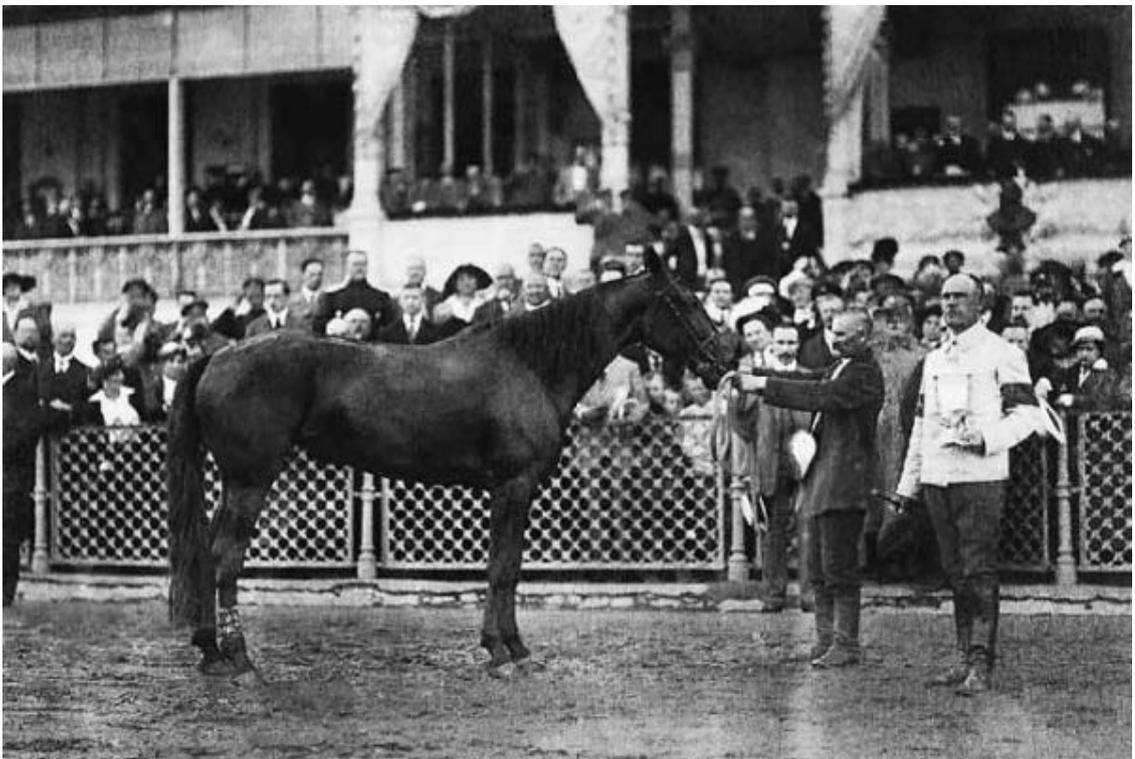
Экспертиза двухлеток на Всероссийской конской выставке в Москве. 1910 г.



За столиком слева А. А. Щёкин, Н. С. Пейч, С. А. Шпажников (стоит), М. М. Шапшал;
за столиком справа С. Н. Коншин, А. Н. Крыжановский (стоит), С. И. Гирня, С. А. Похвиснев.



Интернациональный приз 1912 г. в Москве. Участвуют Боб Дуглас, Дженераль Эйч, Крепыш, Марка, Милорд, Наль, Хабара, Центурион.



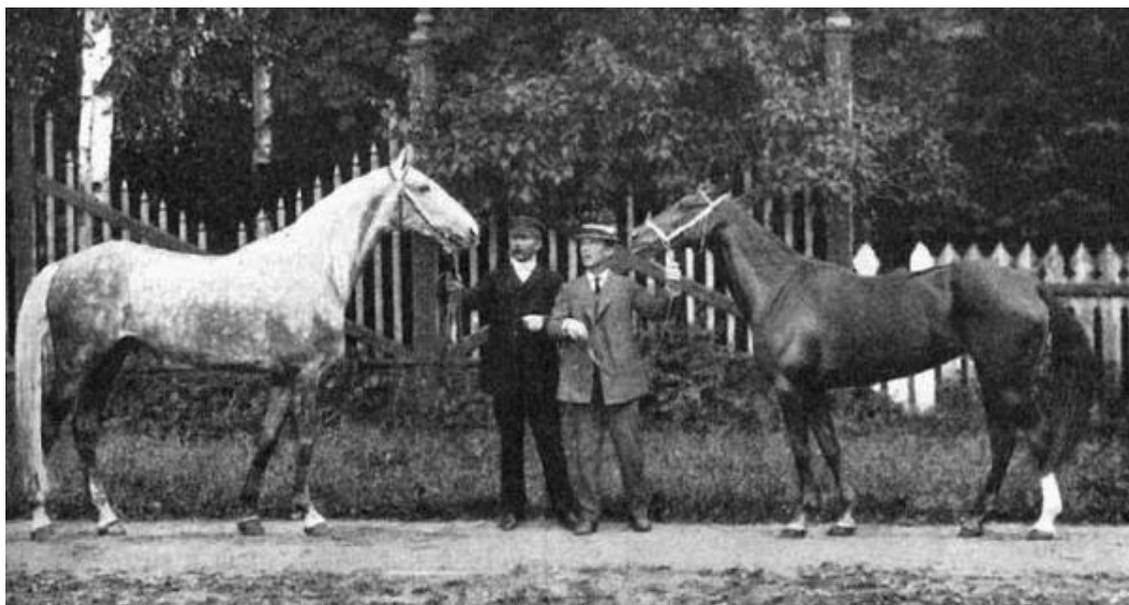
Наездник С. Ляпунов после выигрыша Императорского приза на Жертве.



Я. И. Бутович в день победы Кронпринца в Императорском призе. 1912 г.



Кронпринц, победитель Императорского приза. 1912 г.



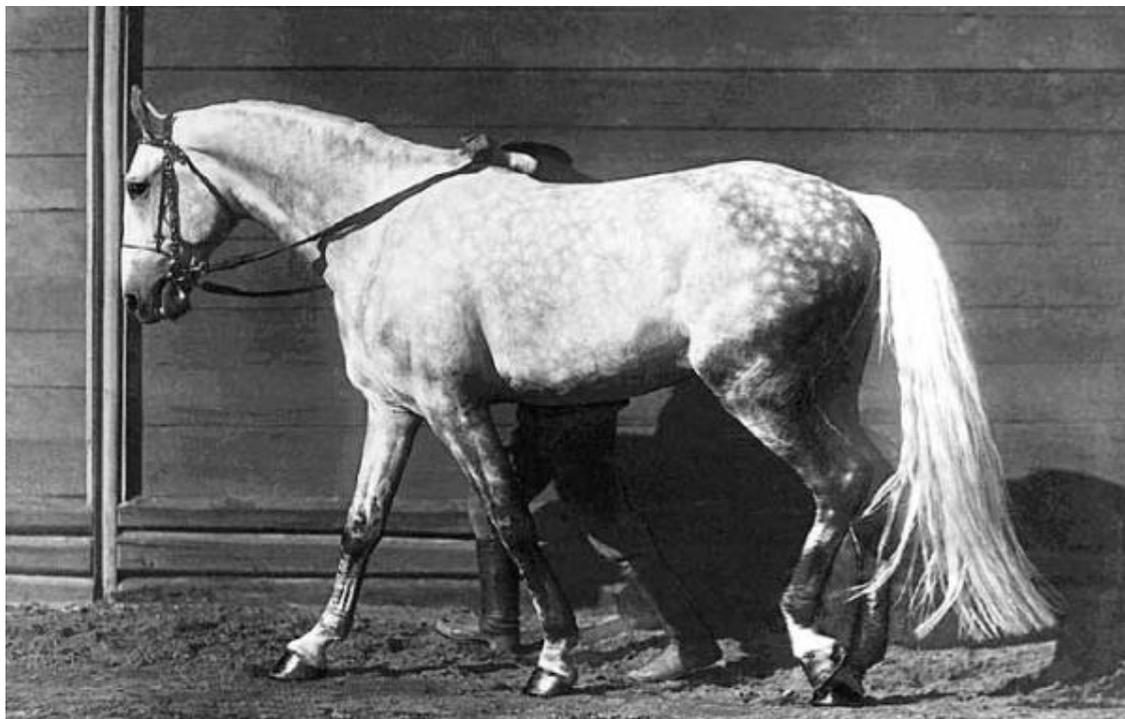
Крепыш – Лу Диллон. Свидание знаменитостей в Москве.



Н. Н. Шнейдер и М. М. Шапшал (владелец Крепыша).



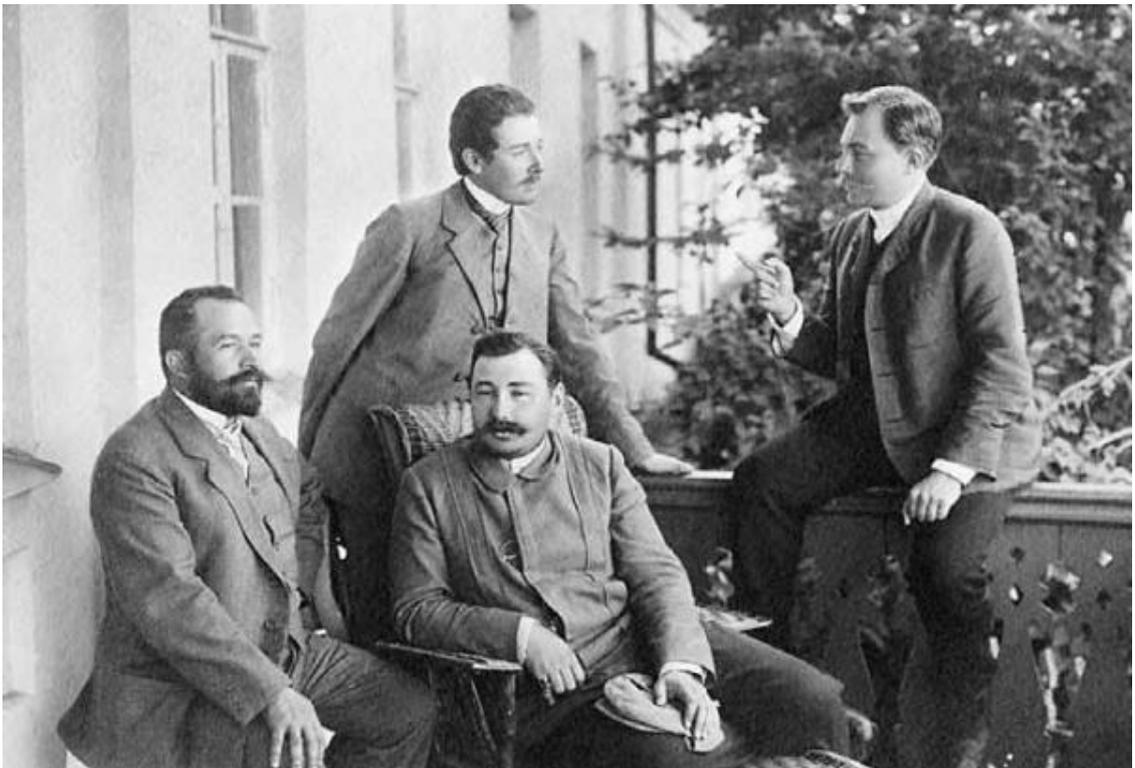
Дж. Кейтон на Крепыше.



Крепыш.



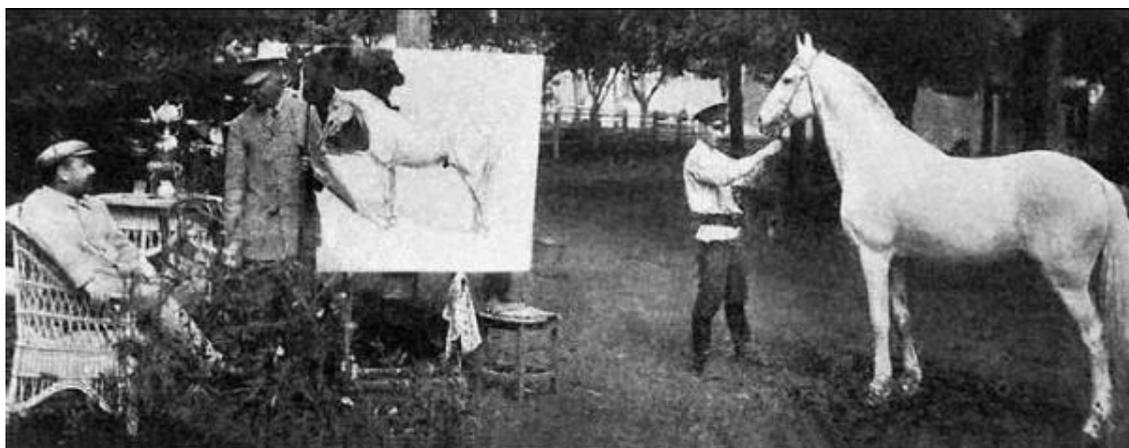
Лошади в заводе Я. И. Бутовича. Фото Н. А. Алексева. 1913 г.



На крыльце дома в Прилепах: А. С. Атрыганьев, В. А. Щёкин, Я. И. Бутович, Н. А. Сопляков (Юрасов).



Яков Иванович Бутович. 1912 г.



Н. С. Самокиш пишет портрет знаменитого Громадного (отца Крепыша) в конном заводе Я. И. Бутовича в имении Прилепы. 1912 г.



Дом в Прилепах.



Я. И. Бутович и служащие его завода в галерее Прилепы.



Я. И. Бутович. 1915 г.



А. Р. Вальцова, жена Я. И. Бутовича.



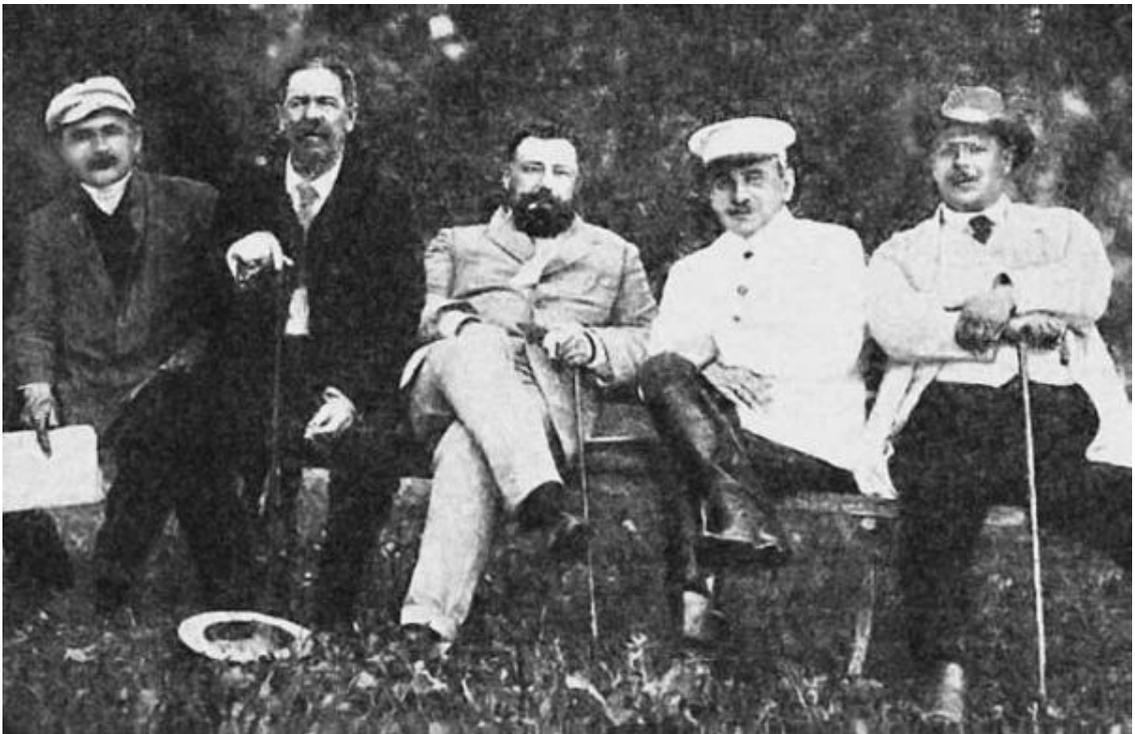
Я. И. Бутович с гостем в галерее дома в Прилепах.



Николай Семенович Самокиш, профессор батального класса Академии художеств.



Я. И. Бутович с женой и гостями в Прилепах.



Группа тульских коннозаводчиков: Г. Г. Апасов, А. П. Офросимов, Я. И. Бутович, гр. А. Л. Толстой и Лесковский. 1914 г.



Братья Ратомские: Эдуард Францевич, Франц Францевич, Леонард Францевич.



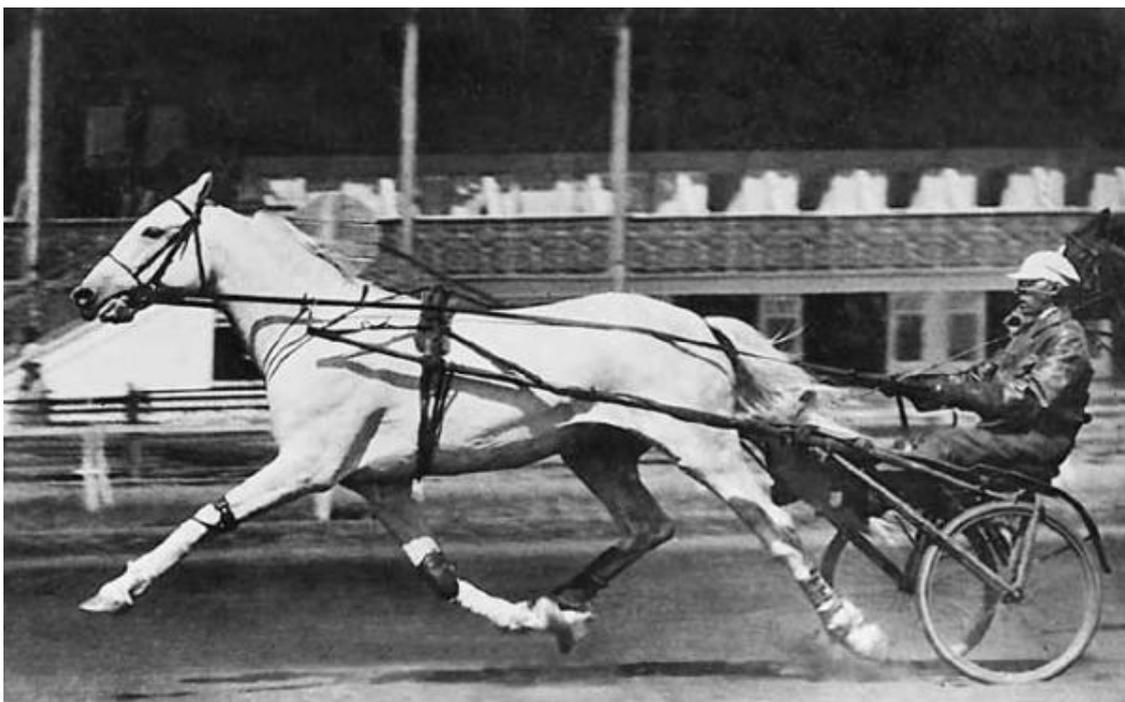
Владимир Оскарович Витт.



В Ясной Поляне у Л. Н. Толстого. Крайний справа – П. А. Буланже.



Апрель 1917 г. в Туле.



Наездник Н. Семичев на Улове (Ловчий – Удачная) Прилепского завода.



Полуторники Пермского конного завода в табуне. Линия Ловчего, семейство Будущности, Прилепского конезавода Я. И. Бутовича.



Хреновский конный завод.

Касперовка и кадетский корпус

Картины далекого прошлого

Мой отец, Иван Ильич Бутович, был уроженцем или, как тогда говорили, столбовым дворянином Полтавской губернии. Он отличался большой предприимчивостью, а потому еще молодым человеком продал свои полтавские земли и купил большое имение в Новороссии, тогда мало еще заселенном крае. Имение находилось в 454 верстах от города Николаева, в Херсонской губернии, называлось Касперио-Николаевка. Моя мать, Мария Егоровна Сонцова, тоже происходила из помещичьей семьи, родилась в Екатеринославской губернии (в гремящем во время войны Гуляйполе, где подлец Махно имел свой штаб). Среди помещиков Херсонской губернии отец был одним из богатейших. Он был замечательным хозяином: у него было громадное даже для того времени овцеводство, два винных завода, конный завод, рогатый скот украинской породы, черепичный завод, паровые мельницы и прочее. В молодости отец служил по выборам и одно время избирался не только уездным, но и губернским Предводителем, однако общественная деятельность его не притягивала, увлекался исключительно хозяйством и последние 35 лет жизни почти безвыездно прожил в Касперовке – его создание, его детище.

Отец был очень строг, люди его боялись как огня. В семье – деспот. Мы, дети, мало знали отца и старались не попадаться ему на глаза. Зато мать была доброй и гуманной женщиной, полной противоположностью отца. Сколько она претерпела от ужасного характера Ивана Ильича – одному Богу известно. Детей она любила, и ей мы обязаны многим. Трудно сказать, что было бы с нами без ее самоотверженных забот. Это была святая женщина, и дай Бог, чтобы земля ей была пухом.

У отца было тринадцать душ детей, девять выжили, остальные умерли малолетними. Роста отец был громадного, черты лица имел крупные и некрасивые. Мать, наоборот, была красавицей и в свое время блистала на балах и в обществе. Это была замечательная во всех отношениях женщина, она любила литературу и все изящное. У матери собралась очень хорошая библиотека, и мы, дети, проводили много времени с книгами. Отец решительно ничего не читал, кроме «Новороссийского телеграфа».¹ Думаю, от отца я получил любовь к лошади. Его дед был крупным коннозаводчиком, имел один из лучших заводов так называемых малороссийских лошадей. Любовь к литературным занятиям и искусству я, несомненно, наследовал от матери: Сонцов, ее дед, был коллекционером, имел картинную галерею.

Отец любил лошадей, но интересовал его не столько завод, сколько выезды и быстрая езда. Жизнь в Касперовке была устроена так же, как в большинстве дворянских усадеб того времени. Дом большой, барский, с колоннадами, в несколько десятков комнат. «Парадные» комнаты, зал, диванная, голубая и желтая гостиные, будуар матери и библиотека наполнялись шумом и весельем только во время съезда гостей; в обычное же время все береглось: мебель, картины и бронза стояли в чехлах. Вся жизнь семьи шла во внутренних комнатах и вокруг комнат матери. У отца была отдельная половина, состоявшая из кабинета, приемной, спальни, ванной и гардеробной. Мы, дети, никогда не ходили туда, а когда нас вызывал отец, со страхом проникали на его половину.

¹ «Новороссийский Телеграф» был рупором консервативного радикализма: обличение местных не порядков сочеталось в газете с травлей инородцев. Здесь и далее примечания составителей. – Ред.

Обстановка дома была роскошной: все, что можно было достать за деньги, имелось здесь. Кроме того, немало было и старины; нас, детей, особенно влекли сундуки кладовой, которые раз в год открывались и проветривались. В сундуках хранилось приданое бабки, матери отца, большой богачки. Там лежали платья, ткани, вышивки. Когда поднимались крышки сундуков, открывалась выставка драгоценностей женщины XVIII века. Громадные деньги дали бы теперь антиквары за содержимое тех сундуков, но, увы, все погибло во время революции. Это было каких-нибудь 30 лет тому назад. Как была тогда богата Россия и как беден теперь Советский Союз республик! Вчера мы с моим помощником ломали головы, где купить сани-розвальни. Нигде нет: ни в учреждениях, ни на лесосеках, ни на базаре – а если и есть, то никуда негодные и просят за них, без кресел и оглобель, 18 рублей!

Прислуги в доме было очень много: несколько лакеев, дворецких, горничные и две гувернантки – обязательно француженки или швейцарки. Немок у нас не было, что удивительно, ведь моя бабушка со стороны матери и мать хорошо говорили по-немецки. Видной персоной среди всех слуг считался повар. Отец любил поесть, и стол у нас был изысканный. Ежедневно за стол садилось 15–16 человек – и это без гостей. Разумеется, повару помогали, кроме повара, два помощника. Повара менялись редко, ибо отец только с ними и считался, платил им большое жалованье и дорожил ими.

Главного повара я помню как сейчас, звали его Мироном Павловичем. Настоящий артист своего дела. Когда государь был на Юге, то именно Мирон Павлович готовил кушанье в Дворянском собрании и удостоился высочайшей похвалы. Он носил медаль, которую ему пожаловали якобы из кабинета. На заказ к матери Мирон Павлович являлся в ослепительно белоснежном колпаке, такой же куртке и фартуке; медаль неизменно красовалась на левой стороне груди. Характером хуже черта, личность невозможная, кроме того, большой поклонник прекрасного пола. Все полтавки, так называемые «сроковые» девушки, приходившие из Лохвицкого уезда Полтавской губернии работать срок с первого апреля по первое октября, буквально преследовались им. Отец, сам ловелас первой руки, доставивший матери много горя, был очень строг к амурным делам служащих, однако Мирону Павловичу прощал и это. Еще трех слуг ценил отец, многое им прощая: кучера Степана Васильевича Шпарковского, выездного гайдука Чеповского и старшего садовника-француза.

Отец любил садоводство, Касперовку украшали три сада: старый сад, новый и пасека. Старый сад, собственно парк при доме, с партером, фонтанами, гротами, цветниками, беседками, островами и двумя большими прудами, был гордостью не только нашей усадьбы, но и губернии. По преданию, его разбил француз в XVII веке. При парке были оранжереи и теплицы персиковых деревьев. Новый сад насадил отец, там были только фруктовые деревья и виноградник. Фруктовые деревья росли правильными куртинами, каждая была отделена от другой аллеей каштанов, лип, белых акаций. Этот замечательный фруктовый сад находился в двух верстах от усадьбы. Наконец, на пасеке, где имелось около тысячи колод пчел, росли только «дички» – сливы, груши, вишни. Это удивительное, живописное место отец оставил таким же нетронутым, каким оно было еще при Васильчикове,² у которого он купил имение.

За хозяйством наблюдало несколько садовников, а руководил ими садовод, привезенный отцом из Франции. Тоже был мастер своего дела, и неудивительно, что садовая часть хозяйства поддерживалась на недостижимой высоте. Сады обходились отцу в 10 000 рублей ежегодно, что было громадной суммой. По вечерам после трудового дня отец любил садиться на террасе, тогда открывали фонтаны, благоухали цветы, отец отдыхал, беседуя с французом. Помимо жалованья, француз ежедневно получал к столу бутылку красного вина.

² Князь Илларион Илларионович Васильчиков (1805–1862), генерал, киевский генерал-губернатор в 1852–1862 гг., член Государственного Совета Российской Империи.

По тем временам это было такое баловство, что о нем говорили во всей губернии. Однако на иных условиях садовник не согласился бы покинуть Францию.

К числу любимцев отца принадлежал и выездной гайдук Чеповский, поляк огромного роста. Кажется, за рост его и любил отец. Чеповский носил фантастический костюм: широкие шаровары и высоченную меховую шапку. Он всегда ездил с отцом. Мы, дети, его очень любили, так как он был добрейший человек, и прозвали его Чапо-Тапо. Прозвище так понравилось отцу, что с тех пор Чеповского иначе и не называли.

Благодаря любви отца к резвой езде и красивым выездам, каретный сарай и сбруйная напоминали каретное заведение и шорный магазин. Сбруя, богатая и самых лучших мастеров, помещалась в двух особых комнатах каретного сарая. Сбруя была только русского образца. Несколько десятков экипажей, заграничных и работы известных московских каретников, тоже были лучшими, какие только можно получить. Свой любимый экипаж, сработанный одним из московских мастеров, отец купил в Москве, на промышленной выставке 1882 года.³ Теперь такой экипаж уже никто не сумеет сделать. Лошадей на конюшне держали около сорока, все жеребцы, за исключением тех, что ходили на пристяжках, – те были мерины. Отец не любил ездить тройкой, всегда ездил парой – по хозяйству, четвериком в ряд – по делам и в гости. Тройка подавалась только матери и для катания гостей во время больших съездов.

Тройка была удивительно съезженная, масти серой в яблоках. Все другие лошади – вороные, я не помню ни одной рыжей или гнедой. Исключительно рысаки, ведь отец любил ездить очень резво, а дороги в Херсонской губернии этому вполне благоприятствовали. Любимая пара отца именовалась «короли», потому что одну из лошадей пары звали Королем. К сожалению, я не помню, чьего завода лошади. Были страшно злы, необыкновенно резвы, вороные без отмет, на высоких ходах, очень густы. Ребенком у меня, бывало, дух захватывало, когда я видел, как отец мчится на паре «королей». Хорошо помню и знаменитую четверню отца; на пристяжках ходили орловские красавцы завода Коноплина Ужас и Грач.⁴

Когда отец завел свой завод, то из него и пополнял конюшню, а до 1885 года лошадей ему поставлял харьковский конноторговец Феодосий Григорьевич Портаненко, крупнейший барышник на юге России. Это он собрал и продал отцу все пары и четверки. Отец любил Портаненко и часто повторял: «Феодосий – плут, но в лошадях толк знает». Портаненко был родом цыган, жил постоянно в Харькове, где располагались его торговые конюшни и дом на Конной. Далее Харькова уже не проникало влияние барышников Центральной России, и от Харькова весь Юг был в его руках Портаненко, на Юге он был королем этого дела. Молодым офицером я навестил его, он сам *по-охоте*⁵ показал мне «лошадок». Тогда Портаненко был уже на покое и, как сам говорил, баловался, однако на конюшне держал 30–40 лошадей. Торговал только рысистым сортом. Словом, у отца была замечательная выездная конюшня, и не в Москве или Петербурге, а в деревне.

Когда мне исполнилось одиннадцать лет, я прочел повесть Льва Толстого «Холстомер». Судьба злополучного, но великого пегого мерина так повлияла на мое детское воображение, что я полюбил пегих лошадей. С тех пор я мечтал завести пегий завод, но наш заводской наездник, когда я поделился с ним своими мечтами, стал смеяться, говоря, что пегих рысистых лошадей не бывает. Это очень меня огорчило и заставило призадуматься: как же Тол-

³ Назначенная на 1881 год XV Всероссийская промышленно-художественная выставка из-за покушения на императора Александра II в марте 1881 года состоялась на год позднее. Выставка занимала обширное пространство на Ходынском поле, там, где находились Бега – Московский ипподром.

⁴ Орловские рысаки названы по имени графа А. Г. Орлова-Чесменского. «Орловцы» были выведены скрещиванием пятнадцати различных кровей: арабской, английской, голландской, датской, донской, мекленбургской, туркменской и др.

⁵ По словарю В. И. Даля, «охота» – хотение, страсть, бескорыстная и слепая любовь к некоему занятию. В данном случае слово определяет отношение лошадиников к своему делу – без понуждения, исключительно из любви к лошади.

стой написал, что Холстомер, знаменитый рысак, был пегим? В это время случилось событие, которое привело меня в восторг и надолго взволновало. Портаненко прислал отцу с Ильинской ярмарки, которая собиралась ежегодно в Полтаве, четверку вороно-пегих лошадей. Когда об этом доложили отцу, он рассердился, выругал Портаненку цыганом и сказал, что в жизни не ездил на «сороках» и ездить не будет. Услышав о том, что привели пегую четверку, я устремился в конюшню и буквально обомлел от восторга. Это была четверня вороно-пегих лошадей, удивительно подобранных, рослых и таких красивых, что мне казалось, лучших лошадей на свете и быть не может. Четверню запрягли в шарабан и выехали со двора, чтобы показать ее отцу. Я стремглав бросился в дом сообщить о событии, ибо в моих глазах это было событие, и вся наша семья с отцом во главе вышла посмотреть новую четверку. Первая езда этой четверки и сейчас стоит перед моими глазами, словно это было вчера... Пристяжные вились кольцом, белые и черные ноги пегарей мелькали, вся четверня была необыкновенно эффектна и всем понравилась. «Подлец Портаненко, – добродушно сказал отец. – Уж очень хороши пегари – придется оставить». Судьба четверни была решена, и отец подарил ее моей матери, а сам так ни разу и не захотел поехать на «сороках». Эта четверня стала любимой четверней детей, и мы часто на ней катались. Я всегда взбирался на козлы и не переставал любоваться красивыми пегарями. На конном заводе решили, что четверка не иначе как заводская, и наездник, уверявший меня, что нет пегих рысистых лошадей, был посрамлен.

Отец, настоящий любитель езды и городской охоты, конюшню держал не на показ, а для себя. Естественно, что при таких лошадях и конюшне вопрос о кучерах был очень важен. Кучеров служило много, но отец ездил только со своим любимцем Степаном Васильевичем Шпарковским, гигантом и красавцем, кучером божьей милостью, истинным талантом в своем деле. Отец взял его от князя Кугушева, что было не так-то легко, ибо злые языки говорили, что Шпарковский жил с женой Кугушева, чего князь, конечно, не знал. Впрочем, жена князя была «полтавка». Когда отец умер, Шпарковский не захотел служить и, поселившись в Елисаветграде, начал торговать лошадьми. Вскоре он, конечно, проторговался и кончил свои дни на службе у моего старшего брата в той же Касперовке, присматривая за полукровками и вспоминая лучшие дни.

Нельзя не упомянуть, что отец мой любил евреев и постоянно прибегал к их помощи. Херсонское дворянство, да и не оно одно, трунило над пристрастием отца, а Император Александр III иронически называл отца «еврейским царьком». В Касперовке перебивало немало еврейских коммерсантов, они всегда находили там хороший прием. Про отца они говорили: «У Ивана Ильича еврейская голова», делая этим отцу комплимент. Действительно, отец блестяще вел дела, имел успех во всех своих предприятиях и оставил многомиллионное состояние. Евреи помогали ему в делах, вероятно, давали советы, служили маклерами. Буквально ежедневно приезжали представители этой предприимчивой нации, предлагая разные дела, или «гешефты», как тогда говорили в нашей семье. В Николаеве, Одессе, Елисаветграде, где отец имел крупные хлебные и другие дела, все закупки шли через его еврейских представителей. Из них я особенно запомнил елисаветградского Ильюшу Томберга. Когда отец приезжал в Елисаветград, Томберг безотлучно находился при нем, сопровождая везде. Он точно знал, когда отец должен быть, и все имевшиеся дела справлялись у него до приезда. Это был уже пожилой, приятный человек. Кроме того, в Касперовке жили две еврейские семьи: Левонтины и Животовские. Для них отец выхлопотал право жительства, они держали лавки и выезжали за всеми покупками в Николаев. Лавки были необходимы, потому что в Касперовке в летнее время жило до тысячи душ народу. Мы любили, несмотря на запрет, бегать в еврейские лавочки и брать там сладкие рожки, дешевые конфетки, которые нам нравились, вероятно, потому, что были запрещены. Из семейства Животовских вышел знаменитый делец и миллионер, а у нас жили его дед и его отец, Мотя Животовский, который имел

уже кое-какие средства и торговал в Бобринце. Отец любил Мотю и всегда говорил Живоцовскому-старшему, что Мотя – великий человек и далеко пойдет. Отец не ошибся, ибо сын Моти стал действительно крупнейшим финансистом, нажил миллионы и во время Октября благополучно уехал с ними за границу. Я от кого-то услышал, что уехать ему помог Троцкий, который или знал его, или был с ним в родстве. Это весьма вероятно, так как семья Бронштейнов, из которой вышел Троцкий, жила неподалеку от Бобринца, и вполне возможно, что старики Живоцовский и Бронштейн имели общие дела.

Касперовка славилась своей живописностью. Особенно хороши были плавни, поздежнему заливные луга, а их было 6000 десятин. Ранним утром касперовские плавни становились так хороши, трава в них вырастала так высоко и густо, что здесь еще в тридцатых годах XIX столетия водились дикие табуны. Время сенокоса было лучшим временем в плавнях. Ночью горели костры косарей, которые располагались по всем плавням таборами по сто человек. Днем ровные удары косы клали прямые ряды травы, а косари мерно, в такт подвигались вперед. Запах стоял одуряющий, отовсюду слышалось пение. Конечно, теперь уже нигде не увидеть ни такой картины, ни такого приволья.

Плавни орошались тремя реками: Громаклеей, Нигульцем и еще одной речонкой, название которой я забыл. По берегам стояли высокие камыши, а в реках водилась пропасть рыбы и раков. Рыбная ловля была одним из любимых наших занятий, особенно прельщали наше воображение и пугали большие сомы, о которых нам рассказывали разные ужасы: мы верили, что сомы едят людей. Были случаи, когда попадались действительно гигантские сомы и щуки, тогда нередко к месту рыбной ловли подходили косари и тоже получали рыбу; раки в Громаклее водились особенно большие и вкусные, их ловили у камышей по берегам сетками.

Небольшой лес Касперовки отстоял от усадьбы на 15 верст. Поездки в лес составляли целое событие, и к ним готовились задолго. Ездили обыкновенно с утра, причем вперед уходили кухня, прислуга и подводы с провизией; затем ехали мы с гувернантками и гостями. Возвращались только вечером. День, проведенный в лесу, служил предметом долгих разговоров в детской.

К числу красот Касперовки относились и парк, и сады, но наиболее живописна была пасека. Жужжание пчел, таинственный дид-пасечник, большие омшаники для пчел, подвалы для меда – все настраивало воображение на особый лад. Пасека была любимым местом прогулок моей матери: здесь стояла особая беседка, куда никто не ходил и где она любила молиться.

Собственно жизнь деревни, то есть жизнь крестьянства, нам, детям, оставалась почти неизвестной, так как при Касперовке были не деревни, а обосновались так называемые колонисты, не более 20–30 семейств, преимущественно немецких, кои арендовали у отца землю и за это были обязаны особыми работами при винокуренном, черепичном, кирпичном заводах и слесарных и других мастерских. Так же далеко от нас жили рабочие и проходили сельскохозяйственные работы. А работы эти были громадны: засеивались, затем убирались тысячи десятин земли. Работы мало нас интересовали, вернее, нас не пускали и не возили на них. Зато с жизнью отар мы познакомились хорошо.

Одна из наших гувернанток, M-lle Julie, очень любила овец и не могла себе представить, что у моего отца их сорок тысяч. Пока M-lle Julie не увидела бескрайние отары, она не верила в легендарную цифру. Даже по нашим, русским меркам овцеводство отца держало третье место в Херсонской губернии и Таврии. Благодаря M-lle Julie мы часто ездили кататься в степь: она любила смотреть на овец и давала нам объяснения. Все же меня больше привлекала живописная, чем деловая сторона отары рамбульен-негретти. Я любил уже самый подъезд к отаре, когда с громким лаем мохнатые овчарки бросаются к нам, а пастух спокойно и важно отзывает их. Он величественно стоит, облокотившись на свою «чер-

лычу» – палку с деревянным крючком на конце для ловли овец за ногу, посасывает трубку. Тут же поодаль его избушка – большой ящик с крышей на оба ската, на двух колесах. Эта передвижная избушка называлась чабанкой и возилась парой украинских волов; в ней жил, отдыхал и укрывался от непогоды чабан, возле нее он готовил пищу. Красивую картину являли собой эти суровые черномазые люди, когда они раз в неделю, по субботам, съезжались в Касперовку, где вытягивались возле продуктового магазина, дабы получить провизию на неделю. Рядом с каждой чабанкой стояли волы, лежали собаки, а хозяин терпеливо ждал своей очереди. По субботам таких чабанок собиралось до двадцати штук.

Овцеводство меня никогда не привлекало, я оставался к нему равнодушен даже тогда, когда во время стрижки овец M-Ile Julie теряла голову от удовольствия, а в Касперовке все приходило в движение. Мы часто ходили на стрижку и смотрели, как ловко, быстро стригли особыми ножницами тяжелых баранов и овец, как постепенно грязная шерсть отваливалась пластами и обнажалась тонкая кожа, покрытая легким слоем шерсти цвета сливочного масла. Остриженная овца вскакивала, не понимая, где она; ее провожали, держа за ногу, в загон; там особый чабан ловко и быстро, ударом особой кисти на длинной палке мазал ей пораженные места дегтем, и затем ее пускали. Кругом стоял стон блеющих овец, шум ножниц и разговоров. Пахло тяжело и приторно – шерстью.

После стрижки наступало время продажи шерсти. Запакованная в большие тюки шерсть хранилась в кошарах, где ее караулили от поджога особые сторожа. Из Москвы ждали покупателя. Обыкновенно приезжал Алексеев,⁶ один из представителей этой богатой купеческой фамилии, давшей трагически погибшего городского голову Москвы.⁷ С ним приезжали управляющий этого торгового дома барон Бухгейм и один старый опытный приказчик. Алексеев много лет кряду покупал у отца шерсть, и в моей памяти остались его приезды. Приезд Алексеева был, конечно, событием, ведь москвичи выкладывали за шерсть сто тысяч рублей. В день его приезда всегда был большой съезд, потом парадный обед, а вечером иллюминация. Позднее, когда в Касперовке построили свою электрическую станцию, иллюминировали буквально весь парк. За обедом произносились тосты и речи, и обыкновенно Бухгейм, человек воспитанный и вполне светский, после речей подносил моей матери ценную безделушку из сакса или севра, а раз – лукутинский ларец.⁸ На другой день Алексеев, Бухгейм и отец ездили по отарам, и лишь на третий день сделка заканчивалась и москвичи уезжали домой. Еще день-другой, и перед кошарами появлялись подводы соседних крестьян, тюки грузились, шерсть уходила в Харьков к Алексееву. Не только овцеводство, но и скотоводство оставляло меня до известной степени равнодушным, тогда как мой отец очень любил скот и, как коренной малороссиянин, разводил только серую украинскую породу. Мы, дети, любили ходить в загон, где вечером доили коров (их было свыше двухсот голов), и часто пили там парное молоко...

Вчера я долго не мог заснуть, и так как начал писать эти воспоминания, то, естественно, мысли мои вращались вокруг далекого прошлого. В памяти воскресла картина, почему-то с полной ясностью и во всех подробностях: мать, две старшие сестры и я едем в ландо в лес; подъезжая к местности, называвшейся Привольное, мы увидели на бугре стадо коров. Зеленый фон земли, голубое южное небо, эти белые красавицы с огромными рогами представляли картину удивительной красоты. Я не мог ее забыть, и почему-то вчера она вновь

⁶ Видимо, Сергей Владимирович Алексеев (1836–1893, возглавлявший семейное мануфактурное дело Товарищество «Владимир Алексеев», отец Константина Сергеевича Станиславского (Алексеева).

⁷ Николай Александрович Алексеев (1852–1893), московский городской голова, двоюродный брат К. С. Станиславского, в своем кабинете в Городской думе был смертельно ранен душевнобольным и скончался через два дня.

⁸ Так, по имени Петра Лукутина (1784–1863), владельца фабрики в подмосковном селе Данилково, называли лаковые шкатулки с изображением троек, а также исторических и бытовых сюжетов. Позднее Данилково слилось с соседним селом Федоскиным и изделия стали называться федоскинскими.

воскресла в моей памяти с поразительной ясностью. Это было каких-нибудь тридцать лет тому назад...

Спокойные времена

Можно было бы многое вспомнить и многое рассказать о Касперовке, но ограничусь этими беглыми воспоминаниями и перейду к своему детству и юности. Я родился в Касперовке в 1881 году. Крестили меня в нашей приходской церкви при имении.

Моей крестной матерью была Софья Яковлевна Ляшевская, жена военного прокурора Одессы, приятельница моей матери. Вот уже сорок четыре года, как я ношу крестик с надписью: «Якову Бутовичу от Якова Волошинова». Волошинов, богатый екатеринославский помещик, был моим крестным отцом, а Софья Яковлевна была его дочерью; в его честь я и получил имя Яков. Как ни странно, я почти ничего не помню о моем раннем детстве, ведь говорят, есть дети, которые помнят свою жизнь чуть ли не с двух-трех лет. Знаю лишь, что был капризным ребенком, что мать любила меня больше других детей и что лицом я очень походил на отца.

Мой дядя Сонцов говорил мне, что уже в раннем детстве я очень любил лошадей, что двух или трех лет я, глядя на изображение лошади, изрек: «Лошадь – это бог», за что и был примерно наказан. Несколько раз, к ужасу нянек и гувернанток, я убежал на конюшню, потому за мной постоянно следили: боялись, что я попаду под ноги лошади.

Ясны в моей памяти первые годы учения. Я поступил в первый класс Ришельевской гимназии⁹ в Одессе и первые два года прожил в очень почтенной семье, а именно у госпожи Графтио. Г-жа Графтио, вдова преподавателя французского языка той же гимназии, жила с двумя сыновьями, студентом и гимназистом старших классов.

Графтио были очень бедны и жили на мой пансион. Поместил меня к ним директор гимназии, зная о средствах отца и желая помочь этой почтенной женщине, которая с трудом давала образование своим сыновьям. Насколько скромно жили Графтио, можно судить по следующему факту, оставшемуся в моей памяти на всю жизнь: я обратил внимание, что г-жа Графтио, когда ей надо было зажечь огонь, крутила длинные, тонкие бумажки и зажигала их от лампы. Таким образом она тратила одну спичку, может быть, две или три в сутки. Эти бумажки почтенная старушка называла «фидибусами» – зажигалками.

Два года, которые я прожил в этой семье, позволили г-же Графтио сделать небольшую экономию, но от «фидибусов» она, уже по привычке, не отказалась. Ее старший сын стал впоследствии знаменитым инженером, при советской власти именно он возглавил технические работы Волховстроя.¹⁰ Моим репетитором был младший Графтио. Он был очень добр, но учился плохо, так как был мало способен. Где он теперь, я не знаю. С чувством уважения я всегда вспоминаю почтенную старушку Графтио, ее старого кота, «фидибусы».

Жили Графтио на Тираспольской улице, в доме Трандафилова, богатого помещика Одесского уезда. Трандафиловы – потомки греков-колонизаторов, люди очень почтенные и симпатичные. Каждый день сама Трандафилова, дама преклонных лет, и ее единственный неженатый сын лет пятидесяти ездили кататься в карете на паре старых рыжих лошадей. Картина отъезда Трандафиловых стоит перед моими глазами и сейчас как живая, и даже не верится, что все это было. Далекое время детства, счастливые, спокойные времена, когда

⁹ Тогда же в гимназии учился сверстник Бутовича, незаконнорожденный сын состоятельного отца и крестьянки Полтавской губернии, будущий писатель Корней Чуковский. Его автобиографическая повесть «Серебряный герб» – описание гимназии глазами гимназиста из непривилегированных. В описании и оценках Бутовича и Чуковского много общего.

¹⁰ Генрих Осипович Графтио (1869–1949), академик, специалист по строительству и электрификации железных дорог, гидростроитель, в 1900–1917 гг. строил железные дороги в Крыму и Закавказье, после 1917 г. – строитель первых гидроэлектростанций в СССР. Именем Графтио названа Нижнесвирская ГЭС, несколько улиц, в его честь поставлены мемориальные доски и два памятника.

люди могли жить и не думать о том, что их каждую минуту могут выгнать из дома, ограбить или убить.

Я частенько бегал на конюшни давать морковь рыжим лошадям Трандафиловых. Морковь я брал на кухне г-жи Графтио, и экономная старушка приходила буквально в ужас от такого мотовства. Трандафилова очень любила своих лошадей, а потому, узнав о моих визитах, стала присылать мне в воскресенье вкусные греческие сладости, которые изготавливались у нее поваром-греком

Жизнь у Графтио, в квартирке во дворе, после великолепной Касперовки была, конечно, скучна, но я не помню, как я тогда отнесся к этому контрасту. Учился я первые два года вполне удовлетворительно и делал недурные успехи в гимназической науке. Когда я перешел в третий класс, то две мои сестры, впоследствии Е. И. фон Баумгартен и М. И. Чепреш фон Чаприц, которые были старше меня на два или три года, должны были поступить в одесский пансион. Моя мать не хотела, чтобы они жили при пансионе, и переехала в Одессу. Для нас отец купил дом на Херсонской улице. Тут жизнь пошла по-другому, у матери было, естественно, много знакомых. Устраивались вечера для молодежи, жизнь потекла так же весело, как и в Касперовке. Из наших гостей, из всех бывавших у нас я лучше всего помню мою крестную мать С. Я. Ляшевскую: она настолько была дружна с матерью, что бывала у нас почти ежедневно. Она прозвала меня «Яша-поганушка», так как в тот год я очень подурнел, о чем все сожалели. Часто бывала старуха Демидова, она же – княжна Сан-Донато,¹¹ старая знакомая моей матери. Не стану описывать жизнь нашей семьи в Одессе, она напоминает жизнь любой богатой дворянской семьи того времени. Я подружился с молодым Демидовым, князем Сан-Донато, он был на два года старше меня, и все свободное время мы проводили вместе: ходили в манеж, ездили верхом.

Перед Рождеством случилось событие, повлиявшее на направление всей моей жизни и на выбор профессии. Помню, как будто это случилось вчера. Мы с Демидовым гуляли в сопровождении гувернера по Дерибасовской улице и остановились у витрины книжного магазина. Мое внимание привлекла книжка, озаглавленная «Коневодство». До этого я не знал, что есть книги о лошадях, и попросил гувернера зайти купить книжку. Она оказалась первым изданием учебника профессора Кулешова. С жадностью я принялся за чтение, но первые отделы оказались чересчур серьезны, их одолеть не смог; зато часть о конских породах я перечел несколько раз и с увлечением рассмотрел картинки. Потом я вновь направился в магазин Розова и купил о лошадях все, что там было – три-четыре книжки. Однако книги, хотя и прочтенные полностью, были сухи. Через несколько дней, в магазине «Нового времени» я купил книгу Коптева¹² и навсегда погиб как классик, которому надлежит изучать древние языки. Забросил все, учение пошло вверх ногами, единицы за единицами следовали в моих тетрадках, и я превратился в самого рассеянного и последнего ученика в классе.

Мать была в отчаянии. Применялись все меры: просили, наказывали, убеждали, отобрали Коптева – но все напрасно: я ходил сам не свой и заниматься не мог. Особенно возмущалась Ляшковская, моя крестная мать, которая не любила лошадей и боялась их: они когда-то потрепали ее. Она называла меня конюхом и говорила, что я на всю жизнь останусь неучем. Словом, мир отлетел из дому, сестры были смущены, мать плакала, назревала катастрофа. А занятия шли все хуже и хуже, я получал единицы и даже нуль. Было ясно, что я останусь на второй год в третьем классе.

¹¹ Демидовы – старейший род российских заводчиков и предпринимателей, в XIX веке Демидовы купили в Италии титул князей Сан-Донато.

¹² В. И. Коптев. Материалы для истории русского коннозаводства. М., 1887 г. Бутович называл Василия Ивановича Коптева «первым русским писателем по вопросам коннозаводства» – автор «Материалов» не только обладал обширными знаниями о лошадях, но и прекрасно владел пером.

Директором гимназии был действительный статский советник Белецкий, высокий, сухой, черствый человек; чех по происхождению, большого роста, он всегда держался прямо и, когда куда-то шел, смотрел вверх. Все трепетали, когда он величественно входил в класс с Владимиром на шее и Владимиром в петлице, в форменном фраке с иголки и белом галстук. Он, прямой, подходил к кафедре и, выслушав молитву, подымался. Журнала отметок он никогда не приносил с собою, как другие учителя; журнал ему подавал надзиратель, когда он всходил на кафедру. Этот человек вселял страх и действительно был невероятно жесток. Меня он не любил, но вынужденно считался с тем положением, которое занимал мой отец. Из боязни, что дома у меня – Василий Иванович Коптев, которого опять отберут, я взял книгу в гимназию и во время уроков читал ее. Тем же я занялся и на уроке латинского языка. По традиции, латинский язык преподавал сам директор. На его уроке и разыгралась сцена.

Отвечал первый ученик Трахтенберг, отвечал блестяще, и класс затих так, что слышно было дыхание соседа; я увлекся Коптевым и так ушел в чтение, что не заметил, как Белецкий подошел ко мне и, положив руку на книгу, застыл в этой позе. Затем он поднял книгу, прочел заглавие и – бросил ее на парту. На лице его было написано негодование и презрение, он покраснел и едва сдерживал себя. Действительно, дерзость была неслыханная – на уроке директора читать книгу! Белецкий возмущался: на что променяли латынь – на лошадей! Он сейчас же выгнал меня из класса и посадил в карцер. Во время сцены класс затих и со страхом смотрел на меня. На другой день Белецкий посетил мою мать и так ее расстроил, что я был глубоко огорчен, вернувшись в тот день домой.

Мать решила, что далее скрывать от отца мои неуспехи и увлечение лошадьми невозможно, и в Касперовку было послано письмо. Надлежало ждать грозы, но все обошлось благополучно, и вот как это случилось. Отец, едуци на пароходе из Николаева в Одессу, встретил нашего губернского Предводителя дворянства Сухомлинова и разговорился с ним. Сухомлинов был исключительным человеком: умница, выдающийся организатор, замечательный финансист и хозяин.¹³ Отец его любил и уважал, в чем был совершенно прав, так как Сухомлинов мог служить украшением любого сословия. Он посоветовал отцу взять меня из гимназии и отдать в кадетский корпус, находя, что неразумно бороться против такого увлечения, что лучше переменить учебное заведение, год подготавливать меня дома и затем поместить прямо в четвертый класс корпуса. Он находил, что будущая карьера кавалериста либо удовлетворит меня, либо за год я образумлюсь и вернусь в гимназию. Отец с ним согласился, и судьба моя была решена. С Коптевым в чемодане я уехал в Касперовку, чтобы с осени начать подготовку в четвертый класс кадетского корпуса.

¹³ Николай Федорович Сухомлинов, действительный статский советник, камергер, член Государственного Совета, херсонский губернский предводитель дворянства в 1896–1917 гг. Не выяснено, какое отношение к этой линии Сухомлиновых имеет военный министр В. А. Сухомлинов, сыгравший в судьбе семейства Бутовичей скандальную роль.

Счастливое лето

Это лето оказалось едва ли не самым счастливым в моей жизни. Посещение конного завода, который приобрел для меня еще больший интерес и новое значение, чтение любимой книги – вот мои летние занятия. В книге Коптева я нашел свою стихию, автор отвечал на все вопросы моей молодой души, рисовал лошадей и жизнь заводов так, что я зачитывался им, все больше и больше проникаясь любовью к орловскому рысаку, которой остался верен всю свою жизнь. Коптев, и только он, стал моим идейным вдохновителем, учителем и тем, кому я хотел верить и в будущем думал подражать.

Очевидно, во мне сидел ген одного из тех моих великорусских предков, который был человеком той же эпохи и коннозаводской культуры, что и Коптев, потому-то взгляды этого автора упали на такую благодатную почву. Несомненно, что этому предку я обязан и тем, что люблю и всегда любил Великороссию, уклад дворянской жизни и культуру именно этой полосы России. Туда я поспешил перенести свою деятельность, как только к этому представилась возможность. Моя связь с родиной моих предков Малороссией все более слабела, и, видимо, великорусские корни моей родословной взяли верх, сделав из меня не любителя верховой и степной лошади, как мой отец, а типичного рысачника, великорусского помещика-коннозаводчика в том понимании, какое мы знаем по описаниям Тургенева, Толстого и других авторов.

Приятель моего отца, генерал-майор, военный судья П. М. Кардиналовский, для подготовки рекомендовал поместить меня в кадетский корпус к подполковнику А. А. Гречко,¹⁴ помощнику прокурора при одесском военном суде. Гречко блестяще меня подготовил и следующей осенью свез в Полтаву, где я очень хорошо выдержал экзамен и поступил в четвертый класс кадетского корпуса.

Жизнь в корпусе тянулась однообразно: утренние прогулки, классные занятия, гимнастические и военные упражнения. Лишь в воскресном отпуске можно было развлечься и отдохнуть от казарменной жизни. Уже с четвертого класса корпуса, то есть с 1897 года, я выписывал все коннозаводские журналы, выходявшие на русском языке, а также два французских. Мой воспитатель, подполковник Ромашкевич, типичный и заядлый пехотинец, косо смотрел на мое увлечение, но я шел одним из первых в классе, и повода запретить мне чтение не было.

В корпусе я начал и литературную деятельность: первая написанная мною статья появилась 17 сентября 1898 года в журнале «Коннозаводство и коневодство»;¹⁵ следующая – в октябре того же года, я учился тогда в пятом классе корпуса. О публикациях узнало начальство, но видя столь серьезное с моей стороны отношение к делу, оставило меня в покое и больше не придиралось к моей лошадиной страсти.

В отпуск я обыкновенно ходил к воспитателю корпуса подполковнику Г. С. Грудницкому, добрейшему, милейшему хохлу. Он был страстным любителем чистокровных лошадей¹⁶ и имел скаковую кобылу Эврику. От нее и Бояра, победителя Grand Prix de Paris, родился рослый караковый жеребец, которого с двух лет Грудницкий готовил к скачкам. Ежедневно на утренней прогулке мы видели его, работающего этого двухлетка шагом под седлом, в попоне и капоре. Начальство, сплошь состоявшее из пехотинцев, не любило Груд-

¹⁴ Дед будущего министра Вооруженных Сил СССР, маршала А. А. Гречко.

¹⁵ Коннозаводство – разведение породистых лошадей, коневодство – массовое разведение.

¹⁶ «Чистокровными» называют английских скаковых лошадей «без примесей». Примеси не допускались после того, как порода сложилась на основе скрещивания арабской, берберийской, туркоманской (ахал-текинской), голландской и др. «Чистокровные» не совсем удачный перевод слова *thoroughbred*, точнее – образцово выведенный специально для скачек. Лошадей других пород, если у них нет примесей, называют чистопородными.

ницкого, а кадеты изводили так, что жизнь его в корпусе была несладкой. Тем не менее Грудницкий не бросал своих лошадей и на последние гроши содержал и холил их. Летом он уезжал на скачки, но там дети Эврики приносили ему одни разочарования. Он был большим неудачником терфа (скакового круга). Я редко встречал такого фанатичного, такого страстного любителя лошади. Выйдя в отставку, он поступил в управляющие чистокровным заводом Иловайского,¹⁷ имение которого находилось в нескольких верстах от Полтавы.

Грудницкий очень меня любил, и я проводил с ним целые дни на конюшне. Он, конечно, всячески поощрял мою страсть, но вместе с тем хотел обратить меня в свою веру, из рысачника перекрестить в любителя чистокровной лошади. С Грудницким я осмотрел первый из виденных мною чистокровных заводов – завод Иловайского. Грудницкий недурно рисовал и писал маслом. Уже тогда я любил искусство, хотя и не думал, что в будущем оно будет играть такую исключительную роль в моей жизни. Грудницкий подарил мне небольшой портрет маслом старого жеребца, славившейся когда-то лошади, находившейся на покое не то в полтавской конюшне, не то у богатого полтавского купца Недобарского. Это была первая картина моей будущей коллекции.

Несколько раз мы с Грудницким ходили на беговой ипподром, хотя бегов и не было.¹⁸ Мы смотрели проездки любителей, и я любовался рысачами; лучшие были у Недобарского. Много ездилось лошадей барышника Хмары, державшего свою конюшню в Полтаве. Во время революции ко мне в Москве заходил его сын, молодой Хмара, который оказался весьма известным артистом Московского Художественного театра. Он просил за отца.¹⁹

Однажды на беговом кругу Грудницкий познакомил меня с господином небольшого роста, сухим, очень подвижным и эксцентрично одетым. Это был К. П. Черневский, управляющий заводом моего дальнего родственника Григория Николаевича Бутовича. С Черневским, фанатиком и знатоком генеалогии, мы вели бесконечные разговоры о породе, разговоры эти с тех пор не прекращаются тридцать три года, уже, конечно, не с Черневским – он давно умер, а с другими людьми. Черневский поклонялся Полкану и превыше всех линий ставил линию Полкана Третьего.²⁰ Видимо, именно Черневский обратил мое внимание на необходимость изучать генеалогию, так как вскоре после нашего знакомства я выписал те коннозаводские книги, которые еще были в продаже. Черневский много видел на своем веку лошадей, рассказывал увлекательно, бывал в Москве – тогда Москва казалась чем-то необыкновенно прекрасным и далеким, где обитали все эти прославленные рысаки, о которых я столько читал в отчетах и коннозаводских журналах. Вот почему я с таким интересом слушал Черневского, а через год уже начал вступать с ним в дебаты.

Как-то в четверг – по четвергам и воскресеньям разрешались свидания и отпуска – меня неожиданно вызвали в приемную. Там был Черневский и с ним незнакомый господин, хорошо одетый, державший себя с достоинством, словом, барин в настоящем смысле слова. Мне прежде всего бросилось в глаза, что господин был рыжий и очень румяный. Это оказался Григорий Николаевич Бутович. Он весьма любезно заявил, что слышал обо мне и моих познаниях и счел долгом познакомиться. Официально, не как родственник, а вице-президент

¹⁷ Степан Павлович Иловайский (1833–1901), вице-президент Императорского Царскосельского скакового общества, управляющий Государственным конным заводом в селе Хреновом под Воронежем.

¹⁸ Скачки – соревнование верховых лошадей под седлом, бега – соревнование лошадей упряжных, заложенных в легкие двухколесные экипажи («качалки»).

¹⁹ Внук Хмары, Алексей, заслуженный артист РСФСР, диктор Студии документальных фильмов. Поколениям советских слушателей был знаком его голос: он читал «от автора» тексты к фильмам.

²⁰ Линия определяется по родоначальнику. «Линия Полкана» идет от Полкана. Если родители потомства принадлежат к разным линиям – это кроссинг (пересечение), если родственными, то – инбридинг (внутри семейства). Выбор и сочетание линий – в этом заключается искусство ведения породы, о чем немало рассуждает Бутович. Особый интерес к «линии Полкана» он сохранял всю жизнь, снова и снова возвращаясь к значению Полкана 3-го в орловской породе.

Полтавского бегового общества, он вручил мне билет на право посещения бегов в Полтаве – первый полученный мною билет!

Разговор завязался быстро и увлекательно, мы с Григорием Николаевичем сосчитались родством, и, расставаясь, он пригласил меня к себе, в имение Николку. Григорий Николаевич был богатейший человек, имел тысячи десятин незаложенной земли, дом в Харькове и крупные деньги в банке. Он женился на очаровательной женщине, был счастлив, уважаем харьковским и полтавским дворянством. Казалось, у этого человека было все, чтобы счастливо жить и так же окончить дни, но случилось иное: он умер от горя в страшной нищете. Григорий Николаевич был очень доверчив и, как большинство дворян, совершенно не делец. Кто-то, говорят, Черневский, убедил его купить громадное имение, в котором якобы находился уголь. Григорий Николаевич купил, всадил туда всю свою наличность и заложил Николку. Угля не оказалось, имение было плохое, недоходное, в какие-нибудь десять лет все пошло с молотка, а Бутович с семьей очутился на улице. Он заболел нервным расстройством и вскоре умер на руках жены в маленьком домике на окраине Полтавы. Жена осталась без всяких средств. К счастью, ее спасла кое-какая мебель, которая оказалась высоко-художественной. На вырученные деньги вдова Григория Николаевича купила домик в Полтаве и воспитывала сыновей, давая уроки французского и английского. В 1916 году я, будучи в Полтавской губернии, навестил её и купил у нее заводские книги и остатки коннозаводской библиотеки Григория Николаевича и его отца. Среди книг были очень редкие, уже не попадавшиеся в продаже. Старший сын Григория Николаевича к этому времени вышел в один из пехотных полков и погиб геройской смертью на войне, защищая родину.

Событие в корпусе

Во время моего пребывания в корпусе случилось событие, всколыхнувшее и поставившее на ноги не только весь корпус, но и весь город. Стало известно, что назначенный начальником военно-учебных заведений великий князь Константин Константинович предполагает приехать в Полтаву и осмотреть корпус. Готовиться начали задолго до приезда: все чистилось и приводилось в порядок, а нас, кадет, так гоняли и муштровали, что буквально сил не оставалось. От нашей первой роты, в которой я в то время состоял, должны были выставить почетный караул; по росту я туда не попал, но был в запасной смене, а потому пришлось усиленно заниматься фронтом.

Наконец известили, что великий князь выехал из Петербурга. Как сейчас помню день его приезда. Занятия отменили, мы с нетерпением ожидали великого князя. Все были, конечно, в обмундировании первой очереди. Начальство и дежурные офицеры – с иголки; педагогический персонал в парадных сюртуках, при орденах и шпагах сосредоточился в учительской; кадеты бродили по коридорам в нетерпеливом ожидании. Кто-то крикнул: «Директор едет!» Все бросились к окнам, увидели, что директор корпуса генерал Потоцкий, в полной парадной форме, с лентой через плечо, выехал в своей коляске на вокзал. Стало быть, предстояло еще долго ждать.

Еще через два часа великий князь, посетив губернского архиерея, предводителя и губернатора, наконец прибыл в корпус. Прискакал адъютант и объявил, что великому князю сначала будут представляться господа офицеры корпуса, преподаватели и чиновники – в большой рекреационной зале, а затем великий князь обойдет все четыре роты, причем кадетам належит быть не в строю, а стоять в шеренгу в дортуаре при кроватях, с тем чтобы великий князь мог, подойдя к каждому, прочесть его фамилию на дощечке у кровати. По заранее объявленному церемониалу все и произошло.

Прибыв, великий князь проследовал в церковь, а оттуда – в рекреационный зал. Мы уже выстроились в шеренги по ротам в дортуарах. Обход начался с четвертой, младшей роты. Настал и наш черед. Из коридора раздались звуки многочисленных шагов, звон шпор. Великий князь в сопровождении директора, генералитета, всего офицерского состава вошел к нам и поздоровался громким и приятным голосом. Ответное приветствие и «ура» разнеслось по всем помещениям.

Великий князь был выше всех на голову, его доброе, красивое лицо, чудные, лучистые голубые глаза сразу располагали к себе и привлекали все сердца. Его как-то сразу все полюбили, и три дня, что он провел в Полтаве, стали для него сплошным триумфом. Среди окружавших его военных он выделялся своим ростом, осанкой, аристократическим видом и необыкновенно приятным выражением глаз. Великий князь был одет в генеральский мундир Измайловского полка, увешанный орденами и звездами, с орденской лентой через плечо. Обходя кадет первой роты, он со многими говорил, спрашивал о семейном положении и задавал незначительные вопросы. Подойдя ко мне, великий князь поинтересовался: «Ты сын Ивана Ильича?» Я ответил утвердительно. Тогда великий князь задал вопрос директору о моих успехах в науке и о моем поведении. Затем расспросил меня о моих занятиях коннозаводством и сказал, что обо мне ему говорил брат, великий князь Дмитрий Константинович, знавший меня через управляющего Дубровским великокняжеским заводом²¹ Измайлова и уже тогда возлагавший на меня некоторые надежды. Потрепав меня ласково по щеке, великий князь сказал, чтобы я передал поклон отцу.

²¹ Конный завод великого князя Дмитрия Константиновича Романова (1860–1919), располагавшийся в селе Дубровка Миргородского уезда Полтавской губернии, действует до сих пор под № 62 и называется по-прежнему Дубровским.

Трудно передать эффект, который произвел не только на начальство, но и на всех милостивый разговор князя со мною. Я стал героем дня: все были поражены теми связями, кои оказались у меня, и недоумевали, как до сего дня я никому ничего не говорил. Начальство до приторности любезничало и заискивало передо мной. Моя страсть к лошадям из смешной и глупой превратилась в нечто очень почтенное, со мной частенько заговаривал о лошадях не только грозный командир первой роты полковник Юркевич, но и сам директор, генерал Потоцкий. Приглашения посыпались как из рога изобилия, и уже на третий день после отъезда великого князя я был приглашен на вечерний чай к самому директору. Дочь Юркевича, встречаясь со мной на прогулке, делала мне глазки; все предсказывали мне блестящую карьеру и адъютантство у великого князя. Даже губернатор, милейший Бельгардт, встретив меня у полтавского предводителя Бразоля, который был старым знакомым отца и всегда хорошо относился ко мне, счел нужным говорить со мной о лошадях. Я воспользовался этим, попросив разрешения осмотреть его выездных лошадей. Бельгардт сам мне их показал, после чего я пил шоколад у губернаторши и удостоился высокомилостного разговора.

Бельгардт был коннозаводчиком в Орловской губернии, его выездная пара была самой красивой в городе, потому я и хотел ее посмотреть. В паре были родные братья, так похожие друг на друга, что их трудно было отличить: сухие, очень красивые рыжие лошади, лысые, белоногие, белогривые и белохвостые. В Полтаве была еще одна замечательная пара лошадей, особенно близкая моему сердцу. Она принадлежала преосвященному Парфению, епископу Полтавскому и Переяславскому. Парфений получил лошадей в подарок от моего отца; их имена – Дончик и Делибаш, вероятно, дети Дезертирки. Несмотря на то что они были не вороной масти (предпочтение архиреев), а серые в яблоках, белогривые и белохвостые, Парфений всегда на них ездил.²² Почему отец подарил ему эту пару и какие отношения связывали его с Парфением – мне осталось неизвестным.

Весь второй день визита в Полтаву Константин Константинович провел исключительно с кадетами: присутствовал на уроках, обедал с нами в ротной столовой, играл в лапту на плацу. Он окончательно покорила все сердца. На третий день плац, где находился великий князь с кадетами, окружила большая толпа горожан и пригородных мещан. И когда великий князь вышел к ним, громкое и долгое «ура» огласило воздух. Великий князь простился с нами в здании корпуса и разрешил его проводить. Весь корпус тронулся на вокзал в походном порядке с музыкой. На вокзале уже собрались все власти города. Здесь разыгралась неожиданная и чрезвычайно трогательная сцена. Выходившего из корпуса великого князя встретила толпа простых людей, подняла на руки, усадила в приготовленное кресло и на руках понесла по главной, Александровской, улице к вокзалу. Директор страшно волновался, боясь, что князя уронят, но все обошлось благополучно. В конце улицы великий князь пересел в коляску и без происшествий прибыл на вокзал, где его провожал буквально весь город. Под несмолкаемое «ура» тронулся поезд, и долго великий князь, стоя на площадке салон-вагона, раскланивался с кадетами и собравшимся народом. Генералитет и военные держали под козырек... Как сейчас, вижу эту трогательную и величественную картину. Кто бы мог подумать, что пройдет чуть более двадцати лет, и на улицах Петрограда, развращенные войной и пропагандой представители того же народа, как за зверями, станут охотиться за представителями дома Романовых?!

²² Во времена, когда лошадь играла в хозяйстве и армии исключительную роль, выбор мастей имел социальное и даже политическое значение. В описании конных заводов Бутович отметил: «Подобно тому как в свое время московское купечество установило моду на густых вороных лошадей, с середины 1880-х годов купцы стали платить бешеные деньги за великанов рыжей масти».

Соловейчик и Спарта

Летние каникулы последних трех лет учебы я проводил не в Касперовке, а в нашем имении Бежбайраках, в пятидесяти верстах от Елисаветграда, потому что расхождения между отцом и матерью достигли к тому времени таких пределов, что отец остался в Касперовке, а матушке предоставил в распоряжение Бежбайраки.

Один из старших братьев, Володя, по указанию отца вел в Бежбайраках хозяйство. Мы, младшие, были, конечно, при матери. Бежбайраки, принадлежавшее когда-то киевскому богачу Фундуклею (в его честь в Киеве – Фундуклеевская улица), всегда считались только доходным имением, владельцы никогда здесь не жили, и потому жизнь в Бежбайраках устроилась несравненно скромнее, чем в Касперовке. Дом был небольшой, лишенный архитектуры, парка также не разбили, а была небольшая роща хилых южных деревьев да поодаль фруктовый сад. Скрашивал имение чудный дубовый лес со скалой, в восьми верстах от усадьбы. Лес был старый, почти дремучий, в нем водилось много зверья. Жизнь текла ровно. Мы почти ни у кого не бывали, отдыхали, набираясь сил к зиме, а я проводил целые дни за чтением или в табунах.

Из примечательных лиц Бежбайраков следует упомянуть лишь одно – приходского священника отца Александра Демиденкова, который ездил на тройке и имел визитную карточку с дворянской короной. Это была совершенно необычная фигура на фоне тогдашнего духовенства. Он мог так держаться только потому, что по слухам платил взятки в херсонскую консисторию, да еще потому, что в Бежбайраках несколько десятков лет помещики не жили.

Осенью 1899 года, за полгода до окончания корпуса, отец подарил мне первую рысистую кобылу. До того у меня всегда были верховые лошади, а в детстве – пони. Мой любимец, вороной Соловейчик – «муц». На Юге, по крайней мере у нас, в Херсонской губернии, муцами звали маленьких лошадей. Однажды Соловейчик меня чуть не убил. Он очень меня любил, а я в нем души не чаял. Небольшая лошадка, добрая и красивая, Соловейчик был плотен на ногах, круторебер, имел большой живот. Однажды недалеко от дома в Касперовке я слез с него, а его, по обыкновению, пустил попасться. Он был так послушен, что всегда подходил по зову и легко давал садиться. Какая-то злая муха укусила его на этот раз: я подошел к нему, взял за повод – он подыграл, вырвался и, брыкнув задом, попал мне в грудь. Я свалился, потеряв сознание. Когда я пришел в себя, Соловейчик мирно пасся подле. Я с трудом уселся на него и поехал домой. Мать очень испугалась, Соловейчика хотели продать, и я еле отстоял своего друга. И Соловейчик, и другие пони были не более как лошади-игрушки, подарок 1899 года делал меня если не коннозаводчиком, то владельцем одной из лучших рысистых кобыл завода моего отца. Подарок – гнедая кобыла Спарта от Мраморного и Соседки. Она дала мне впоследствии гнедую кобылу Санидазу, первую лошадь моего завода, выигравшую на бегах. Дочь Санидазы, гнедая кобыла Суламифь, и сейчас ходит в езде у одного московского лихача. Как-то совсем недавно я долго стоял у Страстного монастыря и глядел на нее, запряженную в пролетку. Передо мною невольно рисовались картины счастливого детства, и так тяжело было вернуться к действительному положению вещей.

Даря мне Спарту, отец записал ее рожденной у меня. Всего через год он покончит счета с жизнью, а я при столь трагичных обстоятельствах стану владельцем Касперо-Николаевского рысистого завода, основанного отцом в 1885 году.

Дело о Рассвете и смерть отца

Отец скончался в Касперовке летом 1900 года неожиданно – от удара. Мать и мы жили в то время в Бежбайраках; оба старших брата, Николай и Владимир, были с нами, причем Коля приехал из Касперовки только накануне смерти отца. Третий брат, Георгий, жил в Киевской губернии, в имении своей жены, урожденной княгини Кантакузен. Гонец с печальным известием прискакал к вечеру: отец скончался утром и прошло несколько часов, пока послали гонца. От Касперовки до Бежбайраков ровно сто верст, и надо удивляться, что гонец так быстро прибыл. Мы тотчас же собрались и всей семьей в двенадцатом часу ночи тронулись в путь в двух колясках с факелами.

Долог и тяжел показался ночной путь, образ отца стоял перед глазами. Да, это был суровый, подчас жестокий человек, но человек прежнего поколения: железной силы воли, прямоты исключительной – одним словом, крупная, недюжинная величина. Его многие не любили из-за его характера, но буквально все ценили и уважали. Отец был выдающимся хозяином и овцеводом. Кроме того, он в высокой степени был наделен способностями финансиста и удесятерил без того крупное состояние, полученное им от деда. Отличался исключительным здоровьем и, несомненно, прожил бы еще долго, если бы не особые обстоятельства, вызвавшие удар и мгновенную смерть.

Многим до сих пор памятно нашумевшее на всю Россию дело Рассвета.²³ В печальной истории подмены рысака оказался замешанным мой брат Владимир. Он продал херсонскому помещику и коннозаводчику Шишкину серого жеребца Рассвета завода моего отца, от Рыцаря и Строгой, дочери Злодея. Лошадь была вполне заурядная по резвости, но очень красивая. Через некоторое время Шишкин обратился к брату, с которым был в хороших отношениях, с просьбой переменить аттестат, добавив в числе примет белую полосу над горлом. Брат, ничего не заподозрив, охотно согласился. Трудно было что-либо заподозрить, ибо в то время подмены орловских рысаков американскими еще не практиковались.²⁴ Шишкин стал пионером в этой области. Через некоторое время вроде бы «Рассвет» замечательно побегал в Петербурге, но понеслись темные слухи о неорловском происхождении этого замечательного резвача. В действительности это был американский рысак William C. K.

Брат поспешил в Петербург и на конюшне Шишкина увидел мнимого Рассвета. Вечером в гостинице между Шишкиным и братом разыгралась бурная сцена; Шишкин запугал брата, показав ему первый аттестат Рассвета, по доверчивости не затребованный Владимиром обратно, и уверил, что брату грозит тюрьма за подлог. Шишкин требовал молчания, обещая убрать Рассвета с ипподрома, а затем отравить. Если бы Шишкин поступил так, все бы затихло, но к тому времени он разорился, а Рассвет обещал золотые горы. Брат, всегда отличавшийся трусостью, не нашел мужества поехать в Скаковое общество и все чистосердечно рассказать вице-президенту графу И. И. Воронцову-Дашкову.²⁵ Воронцов знал и уважал отца и, конечно, уладил бы дело в два слова. Шишкин не выполнил обещаний, брат стал его невольным сообщником, делать заявления было поздно. Один обман повлек за собой

²³ Судьба Рассвета – в основе рассказа А. И. Куприна «Изумруд». Обстоятельства, которых Бутович предпочел не касаться, осветили знатоки-иппологи. См. В. Чебаевский, «Прототип Изумруда» – «Беговые ведомости», 1998, № 4–5, стр. 32–39. С опорой на изыскания В. Ф. Чебаевского, а также В. О. Липпинга, история Рассвета затронута в сопроводительной статье к этому изданию.

²⁴ Орловские рысаки хороши для разностороннего использования, годятся «в подводу и под воеводу», американский рысак выведен для бегов – «по стандарту» (standard bred), отбор потомства производится исключительно по резвости.

²⁵ Граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков (1837–1916) являлся вице-президентом Императорского Царскосельского скакового общества и президентом Императорского Санкт-Петербургского рысистого общества (после 1903 г. – Императорское Санкт-Петербургское общество поощрения рысистого коннозаводства).

ряд других. Брат Владимир пострадал сначала из-за своей доверчивости, затем из-за боязни огласки. Он боялся, что Воронцов-Дашков напишет отцу, тот не простит скандала и лишит наследства. Однако вышло хуже: в результате своих действий брат оказался на скамье подсудимых. Суд признал факт подмены недоказанным. Шишкина оправдали в деле Рассвета, но затем его дважды судили по уголовным делам. В конце концов перед революцией он открыл игорный дом, где был убит за шулерство. Несчастье брата Владимира состояло в том, что он попал в руки прирожденного каторжника.

От отца всё тщательно скрывали, но когда было назначено слушание дела, дядя Илларион Ильич рассказал ему обо всем. Отец вскочил с кресла, разорвал на себе пиджак и замертво упал на ковер, задев ногой мраморную тумбу и свалив тяжелый канделябр, серьезно ранивший его. Так трагически погиб отец, не дожив до суда над братом, не испытав всего позора. А брат с тех пор стал глубоко несчастным человеком, ибо не мог не сознавать, что стал виновником преждевременной смерти отца, опозорил свой род, в котором за пятьсот лет дворянства никто не только никогда не был судим, но и не мог быть замешан в таких делах. Мы не будем больше касаться дела Рассвета и лишь выразим удовлетворение, что он пал.

Училище – Полк – Война

Кавалерийское училище

Два месяца, что я прожил в Касперовке до отъезда в Николаевское кавалерийское училище, были тяжелыми месяцами траура, раздела, улаживания семейных вопросов и пр. По разделу с братьями конный завод отца перешел ко мне, а потому с лета 1900 года меня следует считать коннозаводчиком.

Николаевское кавалерийское училище,²⁶ куда я приехал в августе, первые три дня казалось мне сумасшедшим домом. Старший курс, или корнетство, первые три дня цукало молодежь, или «зверей», то есть только что прибывших кадет, вытравляя из них пехотный кадетский дух. Что такое цуканье и какие уродливые формы оно принимало – известно многим, читавшим воспоминания бывших юнкеров училища, поэтому останавливаться на теме не буду.

Жизнь текла однообразно, между классными и строевыми занятиями, причем последние отнимали много времени. Естественно, что верховая езда была важнейшим предметом строевых занятий. По езде я был одним из первых, но тем, кто до этого не ездил, здорово влетало от сменных офицеров и особенно от эскадронного командира полковника Толного. Это был замечательный ездок и выдающийся строевой офицер. Толного, небогатый офицер одного из драгунских полков, будучи эскадронным командиром, во время смотра обратил на себя внимание великого князя Николая Николаевича и был назначен командиром эскадрона в Николаевском училище. Через несколько лет он получил полк. Это был некрасивый и крайне вспыльчивый человек, гроза всех юнкеров и ездоков.

На смотре командующего войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа великого князя Владимира Александровича, во время учебной атаки, подо мной упала лошадь. Это была кобыла по имени Женщина, на ней я ездил все два года в училище – хорошая, но старая лошадь. После атаки великая княгиня Мария Павловна подъехала ко мне и осведомилась о моем состоянии. Но Толного посчитал, что я провалил смотр. Когда уехали августейшие особы, он полным карьером, вне себя от бешенства, подлетел ко мне, от злости ничего не мог сказать и лишь размахивал стеклом. Виноват был, конечно, не я, а старая кобыла или, вернее, ноги кобылы.

²⁶ Среди выпускников Николаевского училища числятся – Лермонтов, Мусоргский, Маннергейм и Шкуро.

Отпускное время

Если казарменная жизнь в школе была и однообразна, и тяжела, то отпускное время я проводил удивительно весело, и, вероятно, эти два года были самыми счастливыми в моей жизни. На Литейной улице у меня была небольшая, типично холостяцкая квартира из трех комнат с кухней. Там собирались мои друзья с дамами и устраивались пирушки. Нас отпускали из школы по средам и четвергам с 4 до 12 ночи, а затем по субботам с 4 и до 12 ночи следующего дня. Среди школьных товарищей я был дружен с Оливом, сыном бывшего херсонского губернатора, и Суровцевым, моим однокашником по корпусу.

Из юнкеров бывали еще князь Андронников,²⁷ князь Джорджадзе и Гурьев. Вот наша тесная юнкерская компания. К ней примкнули пажи: бывший полтавец Бурман, Палицын, Огарев и Крузенштерн. По субботам если не все, то большинство сходились, точнее, съезжались, так как юнкерам традиционно не полагалось ходить пешком. Олив и Палицын были писаными красавцами, а остальные – милые, воспитанные и очаровательные юноши. Очень часто у меня устраивались пирушки, их охотно посещали самые шикарные кокетки, как всем известная Мунечка. Знаменитая Шурка, по прозвищу Зверек, жившая со светлейшим князем Салтыковым, была влюблена в Палицына, Мунечка – в Олива, а Настя, по прозвищу Станцуй, – в Гурьева. Они приводили своих подруг, тоже модных и роскошных кокоток, на которых ухнулись целые состояния – дворянские и княжеские. Естественно, что мы весело проводили время и были в курсе всего, что делал кутящий Петербург. Теперь я понимаю, почему эти кокетки так охотно посещали мою холостяцкую квартиру: их привлекала зеленая молодежь, они отдыхали, отдаваясь непосредственному чувству и забывая свои повседневные обязанности, оплаченные подчас головокружительными суммами.

О наших пирушках знали в Петербурге, и имена участников были всем известны. Нам завидовали, в наш кружок стремились, но мы по настоянию наших дам ревниво его оберегали. Иногда после адского кутежа, ночью, ехали на тройках на Острова и возвращались лишь на заре. В ресторанах нам, юнкерам и пажам, бывать не разрешалось, поэтому мы не заезжали в загородные кабаки, а возвращались домой. Олив обыкновенно уезжал к Мунечке, Палицын – к Зверьку, Гурьев ехал к Насте, а мы, остальные, устраивались на холостой квартире, нередко в обществе нескольких дам. Эти поездки на тройках были нашим любимым развлечением. И действительно, как приятно было мчаться зимой под звон бубенцов и гиканье ямщика по спящему Петербургу и за город, в вихрях снега! Я никогда, никогда не забуду этой езды, которая ныне, увы, отошла в область преданий. Помимо этих кутежей приходилось, конечно, бывать в обществе – у родных и знакомых, делать визиты семьям товарищей и исполнять другие светские обязанности. Все это, а равно театры, *concours hippique* (конные состязания) и прочее отнимало немало времени; два года пролетели словно золотой, зачарованный сон.

²⁷ Михаил Андронников зарекомендовал себя аферистом и развратником, был связан с Распутиным, но даже Распутин отдалил его от себя.

Коннозаводские журналы

Между 1900 и 1902 годом я уже возымел прочное авторское имя, много печатал в коннозаводских журналах. Я всегда писал легко и быстро, обыкновенно в училище, во время классных занятий, оставляя праздники и отпускные дни для развлечений. В то время круг лиц, писавших по коннозаводским вопросам, был чрезвычайно ограничен, а потому и редактор «Коннозаводства и коневодства», и редактор «Журнала коннозаводства» всячески за мной ухаживали и наперебой старались получить мои статьи. Это льстило моему самолюбию и создало мне до некоторой степени привилегированное положение среди товарищей.

Вильсон, редактор-издатель журнала «Коннозаводство и коневодство», был действительным членом Санкт-Петербургского бегового общества. Для того времени он занимал высокое положение, которым чрезвычайно дорожил, и крайне боялся, получая субсидию, обидеть кого-нибудь. Следующей его заботой, вполне для меня понятной, так как он был обременен большой семьей, было иметь статьи, хотя бы и похуже, но бесплатные. Я не нуждался в средствах и, конечно, не брал гонорара у милейшего Вильсона. Естественно, что при таких взглядах на ведение журнала издание не имело лица, печатая все, что присылали, но зато не могло обидеть или задеть никого из сильных мира сего. Сам Вильсон, огромного роста, сонный, тучный, целые дни копался в журнальной работе на пятом этаже своей небольшой квартиры в пяти минутах ходьбы от бега на углу Николаевской и Звенигородской улиц.

Ростовцев, редактор казенного «Журнала коннозаводства», был полной противоположностью Вильсона: когда-то светский лев, человек общества, промотавший, точнее, пропивший и проевший все свое состояние. У него не было никакого понятия о лошадях, и он никогда не имел ничего общего с конским делом. Справляться с редакторскими обязанностями ему было трудно из-за полного незнания терминов и техники нашего дела.

В то время выпуск очередной книжки журнала был целым событием, ибо президент Бегового общества, великий князь Дмитрий Константинович, был строг и не допускал опечаток, тем более ошибок. Кроме того, князь сам прекрасно владел пером и был очень требователен к стилю статей. С грехом пополам и с посторонней помощью Гоша (так звали Ростовцева в обществе) с делом справлялся, но все же нередко ему влетало от великого князя. После выпуска книжки Гоша мертвецки напивался пивом у Палкина и дня три лежал в кровати, отдыхая от непосильных трудов.

Одна из моих статей шла в очередном номере журнала, и в ней я упомянул имя Сметанки. Ростовцев счел нужным сделать примечание такого приблизительно характера: «Почтенный автор, по-видимому, имел в виду не жеребца, а кобылу, так как имя Сметана женского рода». Он не знал даже того, кто такой Сметанка – родоначальник орловской породы рысаков!!! Представьте себе мой ужас, когда мне принесли корректуру. Я сейчас же выбросил примечание и сообщил Ростовцеву, почему я это сделал. Бедняга был смущен и очень благодарил меня: если бы это примечание появилось в печати, поднялся бы невероятный скандал. К тому же метизаторы не дремали и ненавидели нас, орловцев.²⁸ Какая была бы тема для насмешек и издевательств, тем более что это был орган Главного управления государственного коннозаводства! Приблизительно через год, во время обеда, под хорошую руку, великому князю было доверительно рассказано об этом эпизоде, и князь долго смеялся, а потом поднял бокал за мое здоровье.

²⁸ С конца XIX столетия начался ввоз в Россию американских рысаков. Среди русских коннозаводчиков образовались две партии, подобно тому, как в первой половине века у нас в культуре возникли славянофилы и западники. Славянофилы от коннозаводства стояли за орловскую породу в чистоте, западники-метизаторы – за скрещивание с американскими рысками.

Выход в полк

Дни и недели летели, приближалось время выхода в полк. Уже присылали именные вакансии своим кандидатам гвардейские полки, а я не мог получить таковой и даже не представлялся ни в один из гвардейских полков. Дело Рассвета шумело в то время, так что выйти в гвардию было невозможно, о чем жалел не я один, но и многие мои друзья. Не будь этого несчастного дела, вакансия в лейб-гвардии Гусарский полк, по семейной традиции, была бы обеспечена. Впрочем, следует ли теперь жалеть: если бы я вышел тогда в гвардейский полк, многие интересы и другие дела отвлекли бы меня от коннозаводской деятельности и лошадей, а среди них, из-за них и для них я был счастлив в жизни!

В августе 1902-го, проведя в училище положенные два года, я был выпущен в чине корнета. Осенью того же года после производства в офицеры я взял вакансию в 17-й Волынский драгунский полк, позднее – уланский, и уехал в город Ломжу, с тем чтобы, отслужив положенные год и два месяца, уйти в запас и всецело посвятить себя коннозаводской деятельности.

В Ломжу я выехал в начале сентября и вскоре прибыл на станцию Червонный Бор, от которой Ломжа отстояла в 10–15 верстах. Этот губернский город соединяло с Червонным Бором великолепное шоссе. В Польше было очень много хороших шоссе и все они содержались отлично. Это были так называемые стратегические пути на случай войны с немцами. В Червонный Бор поезд пришел ночью. На вокзале царило обычное оживление: извозчики наперебой предлагали свои услуги и обещали мигом довести в Ломжу. Почти все извозчики оказались исключительно евреи, русских совсем не было, а поляки составляли исключение. Под утро мы приехали в Ломжу и я разместился в гостинице, скромной, но чистой и довольно уютной. Этим она приятно отличалась от гостиниц большинства русских городов.

В продолжение нескольких дней я делал визиты однополчанам, явился и к командиру полка. Волынцами командовал полковник барон Будберг, бывший конногренадер, типичный гвардейский кавалерийский офицер: сухой, с тонкими чертами породного лица, любитель выпить, старый холостяк, добрый и высокопорядочный человек. Он знал обо мне от великого князя Дмитрия Константиновича, а потому принял очень любезно и назначил меня в 6-й эскадрон.

Менее благоприятное впечатление произвело на меня офицерство полка. Богатых людей, кроме адъютанта полка, среди них не было. Почти ничего они не читали, и разговоры вращались исключительно вокруг полковых интересов. Стол – скромный и однообразный, из вин подавались лишь водка и пиво. Семейные офицеры из-за отсутствия средств приемов не устраивали, а потому молодежь коротала все дни и часть ночи в офицерском собрании, играя на бильярде, в карты и проводя время в пустой болтовне.

Служебные занятия полка начинались с утра, но офицеры приходили поздно, а послеобеденные занятия не посещал никто. Зимой раз или два в неделю производилась офицерская верховая езда – это было камнем преткновения для многих, от нее всячески отделялись. Факт, казалось бы, невероятный, но это действительно так. К числу удовольствий города Ломжи можно было причислить лишь плохой театр и прогулки по центральной площади да сидение в «цукерне» – кофейне-кондитерской. Польское общество держало себя надменно вежливо и совершенно отчужденно от офицерских кругов, попасть туда было почти невозможно, и потому офицерам приходилось довольствоваться своим кружком.

Я должен был прослужить в Ломже год с небольшим, но скука оказалась такая, что вскоре я начал ездить в Варшаву, а затем решил познакомиться с жизнью польских помещиков. Местное общество, состоящее из чиновников и купцов, меня, конечно, не интересовало. В нашем полку пятым эскадрон командовал поляк, любитель лошадей, принятый

в польском обществе ротмистр Стегман. Он-то и ввел меня туда. Я был встречен охотно и любезно ввиду того, что сам был помещиком, имел средства, имя, и на меня поляки-помещики смотрели как на своего. Я побывал у многих лиц и хорошо познакомился с польскими хозяйствами.

Образцовое хозяйство

В верстах тридцати от Ломжи находилось имение И. Ф. Соколовского, у которого был небольшой завод англо-норманнов и полукровных лошадей. Игнатий Феликсович Соколовский любезно пригласил меня к себе в имение, обещав через три дня прислать лошадей. В назначенное время к моей квартире подъехала четверка в стяж (цугом) в хорошей, но несколько старомодной коляске, и я двинулся в путь.

Соколовский был помещиком средней руки, так как имел земли всего 1500 моргов (польская мера – меньше нашей десятины). Но какая разница в приеме, умении жить, культурности по сравнению с нашими русскими помещиками того же достатка! Дом Соколовского был типично помещичьим, не домом магната, а именно домом помещика, живущего доходами с земли и своего хозяйства. Одноэтажный дом с характерной крышей под черепицу, более широкий, чем длинный, с двумя террасами и подъемом посередине. Вас сразу охватывало уютом и домовитостью. В передней – рога оленей и чучела птиц; в кабинете хозяина – старые оттоманки, оружие, много книг, прекрасный письменный стол, за которым действительно работали, (это было видно), ковры и хорошие гравюры из жизни лошадей, преимущественно французов: Адама и обоих Верне – Ораса и Карла. Гостиная со старинной, еще дедовской мебелью, бисерным экраном у камина, старым польским фарфором и клавесином просилась на картинку. То же впечатление производила и столовая, где были развешены портреты предков, действительных, а не купленных в лавке антиквара. С точки зрения художественной – скромные работы, но один портрет деда так напоминал хозяина, что я невольно обратил внимание и спросил: кто это? Разговор шел исключительно на французском языке, так как польская аристократия не говорила с русскими ни по-русски, ни по-польски – это была тоже своего рода традиция.

Отведенная мне комната выходила окнами в сад и отличалась безукоризненной чистотой, как, впрочем, и всё в доме. Обед был простой – из четырех блюд, но очень вкусный. Невольно вспоминаю наши русские обеды в деревнях того же достатка: поданы не вовремя, все переварено, недожарено, а иногда и прямо несъедобно, не говоря уж об ужасной сервировке. Сколько раз я присутствовал на таких обедах в моих бесчисленных странствиях по полям и весям бывшей Российской империи!

Соколовский был небольшого роста, сухощав и хорошо сложен, с красивым лицом, длинными, типично польскими белыми усами. Разговор с ним доставлял истинное наслаждение. Этот образованный человек много читал и следил за всеми новинками сельскохозяйственной литературы, много бывал за границей, любил музыку. Он был очень хороший хозяин, как и большинство польских помещиков. Постройки поместья были просты, но капитальны; роскоши никакой, но все обдуманно заранее, потому и хорошо выполнено. Свиньи и коровы породистые, а работа шла на лошадях, преимущественно кобылах «с кровью»: в течение ряда лет покупались чистокровные жеребцы. Чтобы работать на таких лошадях, надо было иметь хороших работников, и таковые, по-видимому, у Соколовского имелись. Я был поражен тем, как почтительны они с хозяином. Небольшой завод англо-нормандских лошадей состоял всего из трех выводных французских кобыл, которые дали уже целое поколение превосходной молодежи. Приплод охотно раскупался в Варшаву и другие города Польши. Для езды поляки чрезвычайно любят мастков, то есть буланых, чалых и пегих лошадей. Я купил у Соколовского чалую Кокотту и ее дочь от чистокровного Вобанка, но впоследствии я продал своих чалых лошадей, так как они не подходили под основное направление моего завода.

В отличном порядке был и сад. Не парк, а именно хороший, доходный фруктовый сад. Перед домом устроена лишь небольшая куртина декоративных деревьев, и все имение обса-

жено старыми липами. В саду размещались искусственные пруды с рыбой, и на другой день мы с мадам Соколовской ловили к обеду карпов. В прозрачной проточной воде неглубоких прудиков-садков рыба была видна вся. Я долго любовался этой рыбой и, наметив особенно хороший экземпляр, без труда вылавливал его круглой сеткой-хваткой на толстом, коротком шесте. Впоследствии, ловя в фонтане Славянского базара живых стерлядей, я вспоминал рыбные пруды Соколовского. Вот как жил и какое хозяйство имел польский помещик средней руки. Проведите параллель между ним и нашим помещиком того же достатка, и вам станет ясно, почему именно в России революция приняла такие ужасные и дикие формы, уничтожившие всю и без того невысокую помещичью культуру.

В действующей армии

Приближалось время окончания моей обязательной службы. Я взял одиннадцатимесячный отпуск без сохранения содержания и уехал в Касперовку, с тем чтобы через одиннадцать месяцев вернуться в Ломжу, проститься, окончательно уйти в запас и всецело посвятить себя коннозаводской деятельности. Но не успел я вернуться в Касперовку, как через три дня был призван в ряды действующей армии и назначен в Маньчжурию. Регулярная кавалерия, кроме Приморского драгунского полка, не принимала участия в Русско-Японской войне, поэтому мой призыв являлся полной неожиданностью. Из Одесского военного округа к отправлению в действующую армию был назначен 8-й армейский корпус, и при нем на правах отдельной части должен был быть сформирован продовольственный транспорт. Так как назначение транспорта – подвозить продовольствие и снаряды, то в нем насчитывалось свыше тысячи лошадей. Весь персонал, кавалеристы, были призваны из запаса Херсонского уезда. Вот почему я совершенно неожиданно попал в ряды 8-го корпуса и принял участие в войне.

Меня назначили адъютантом транспорта, и в тот же день я поехал представиться полковнику Блажиевскому, командиру транспорта. Это был лихой кавалерист, гуляка, но дельный и добрый человек. Транспорт месяца полтора формировался в Одессе, на Пересыпи. Принимали лошадей, разбивали их на взводы; получали из интендантства фургоны, уже груженные кладью, сбруей, амуницией и прочим; формировали канцелярию, кузню. Работа шла быстро. После обеда мы уже освобождались и весело проводили время в городе. Уход крупной части, как корпус, вызвал оживление в Одессе, большой приток денег в торговлю, на улицах, в ресторанах и театрах везде было полно офицерства, которое спешило развлечься перед отъездом на войну. Я, конечно, принял участие в общем веселии и, кроме того, отдал немало времени лошадям.

На Николаевском (Приморском) бульваре я встретил Карла Генриховича Ремиха и просил его помочь мне купить у его тезки, Кирюши Фаца, Червонского-Огонька, жеребца полкановского племени. Мы с Ремихом поехали к Фацу на хутор. Кирюша встретил нас с радостным лицом на пороге дома. Хозяйка уже хлопотала у стола. Скоро поспел кофе, и она напоила нас этим превосходным ароматным напитком с жирными сливками и свежим белым хлебом. Чувствовалось, что наступает торжественная минута, и Ремих заговорил. «Ну, Карлуша, – сказал он, – покажи-ка нам своего Огонька». Последовало длительное молчание, и Карлуша дрогнувшим голосом ответил: «Такое несчастье, Огонёк недели две как пал!». Жена Карлуши прослезилась и все повторяла: «Так жаль, так жаль! Такая хорошая была лошадь, и нам предлагали за него хорошие деньги!». Это воспоминание еще больше расстроило хозяйку, и оба немца принялись ее утешать.

Нередко бывал я и на бегах. Дела Новороссийского бегового общества шли хорошо, разыгрывалась большая и интересная программа. Здесь впервые я познакомился со всеми одесскими охотниками и многими коннозаводчиками. Над городом стояла удивительная золотая осень, что еще больше способствовало успеху сезона и резвости рысаков, которые, на радость спортсменов,²⁹ не бежали, а летели.

²⁹ Спортсменами среди любителей лошадей считались те, кто увлекался соревнованиями – бегами. Бутович был прежде всего коннозаводчиком и, согласно его собственному признанию, не причислял себя к спортсменам.

Друг, которого трудно забыть

В Одессе я ежедневно встречался и проводил целые вечера, а иногда и часть ночи, с моим приятелем Сергеем Григорьевичем Карузо. Он родился в семье херсонского помещика Григория Егоровича Карузо, очень богатого человека, но потерявшего все свое состояние на неудачном ведении хозяйства, на лошадях и разных затеях. Григорий Егорович был добрый, гуманный и образованный человек, которого обирали все кому не лень. Потеряв состояние, он, к счастью, удержал ценз, то есть 150 десятин земли, и это ему, дворянину, давало право на выборные должности по земству и дворянству. Он был избран председателем Тираспольской уездной земской управы и в этой должности прослужил много лет, вплоть до самой революции. Семья его состояла из жены и троих детей. Старшим сыном был Сергей Григорьевич.

Детство Сергея Карузо прошло в деревне Егоровке, которую он любил всем своим благородным и таким пламенным сердцем. Мать и отец Сергея рассказывали мне, что он с детства любил лошадей до самозабвения и ничем другим не интересовался. Уже в десять лет он начал читать Коптева, а вскоре после этого взялся за заводские книги и стал изучать генеалогию орловского рысака. Просиживая в классной комнате за уроками, он, вместо того чтобы решать арифметические задачи или склонять глаголы, по памяти писал происхождение какой-нибудь знаменитой лошади, неуклонно возводя родословную к белому арабскому жеребцу Сметанке, выведенному из Аравии графом А. Г. Орловым-Чесменским в 1775 году. Уже в то время Сергей Карузо обнаружил феноменальную память и все свои ученические тетрадки исписывал подобными родословными.

Мать его была в отчаянии от этих упражнении, но ничего не могла сделать с сыном. Ни угрозы, ни наказания, ни слезы матери не помогали. Несчастливая женщина, пережив разорение мужа, зная, что в этом деле лошадь сыграла не последнюю роль, с ужасом думала о судьбе, которая ждет ее маленького Серёжу. В долгие зимние ночи, когда дети уже спали, она нередко горько плакала, думая о том, что сын не хочет учиться, что средств у них никаких нет, что любовь к лошади не доведет его до добра и окончательно погубит. Мальчик спал безмятежным сном, но порой ему грезились лошади, и тогда он во сне бессвязно лепетал имена Самки, Победы и других. Бедная мать серьезно опасалась за рассудок сына, но понимала, что бороться со страстью Сергея будет нелегко и что из этой борьбы он выйдет победителем. Если бы ей тогда было позволено заглянуть в книгу судеб, то она перестала бы горевать. Но будущее от нас сокрыто...

Пришло время отдать Серёжу в гимназию. Его отвезли в Одессу, и там он поступил в Ришельевскую гимназию, сразу в третий класс. В Одессе Сергей жил в чужой семье, тосковал, учился очень плохо, и отец по требованию директора вынужден был взять его из пятого класса. На уроках Сергей занимался тем же, чем и дома: делал выписки из сочинений Коптева, описывал происхождение разных рысаков. Тяжелая сцена разыгралась в Егоровке, когда отец привез сына: мать бросилась к мальчику, повисла у него на шее и разрыдалась. С трудом привели ее в себя, и Сергей Григорьевич никогда не забывал той минуты: ни одного упрека, ни одного слова порицания, ничего, кроме скорби, он в глазах матери не увидел.

Жизнь в Егоровке опять потекла прежним порядком, но сын, не желая огорчать мать, стеснялся при ней читать коннозаводские книги и начал скучать и тосковать. Однако какая же мать не простит своему сыну даже худших увлечений?! Сергею Григорьевичу мать сама принесла книгу Коптева, и для него настало счастливое время: он целые дни проводил в библиотеке отца и читал запоем все, что касалось лошадей. У старшего Карузо была недурная библиотека по коннозаводству, и столь благоприятное стечение обстоятельств позволило Сергею Григорьевичу глубоко изучить литературу по этому вопросу. Вскоре он перенес все

коннозаводские книги к себе в комнату и всецело ушел в вопросы генеалогии. На семейном совете было решено оставить его в покое и дать ему возможность заниматься любимым делом. «Пусть работает, – благоразумно сказал отец. – Это его призвание, и, быть может, здесь его ждет известность». Слова оказались пророческими. Шестнадцати лет Карузо написал свою первую статью, и она была напечатана. Многие охотники думали, что это пишет опытный пожилой человек, никому не могло прийти в голову, что перед ними сочинение юноши.

У него была очень привлекательная внешность. Роста он был выше среднего, худоват, движения были медленны и размеренны, тембр голоса чистый и приятный. Жгучий брюнет, с довольно крупными чертами лица и удивительно выразительными глазами. Глаза Карузо трудно забыть: в них была и грусть, и страсть, и что-то тревожное, что, может, и привело его к самоубийству. У него был благородный, открытый лоб, красиво очерченный рот, правильный нос. Он носил прическу с пробором и маленькие усы. Карузо был, несомненно, красив и очень нравился женщинам, но в личной жизни был глубоко несчастлив. Ему пришлось много пережить, бороться с нуждой, отказаться от мысли иметь конный завод, видеть крушение своих идеалов в собственном заводе, где он мечтал вывести рекордистов. Вот почему всем тем, кто иногда так страстно критиковал покойного ныне Карузо, я могу сказать: легко критиковать чужую жизнь, но тяжело и трудно эту жизнь прожить.

У этого замечательного человека, как, впрочем, и у всех нас, смертных, были свои недостатки. Он был помешан на аристократизме. Считал, что род его – итальянского происхождения и получил известность с 1026 года, что в жизни этого рода было четыре периода: неаполитанский, сицилийский, венецианский и русский. По материнской линии он возводил свой род к царю Соломону! Карузо утверждал, что имеет право на графский титул, и хлопотал о признании за ним графского достоинства. Его враги над этим немало трунили, но Карузо был искренне уверен в своей правоте и не обращал никакого внимания на эти разговоры. Он, несомненно, скорбел о том, что родился бедным человеком и потому не мог расправить крылья на коннозаводском поприще. В оценках своих любимых лошадей он иногда переходил все границы и считал, что все и вся виноваты в том, что эти лошади не могли показать свой истинный класс. Впрочем, я думаю, что он искренно был убежден в их удивительных качествах, но все невзгоды, из которых главной было отсутствие у них резвости, приписывал злему року. Впрочем, имя Карузо сейчас важно и дорого нам не как имя бывшего коннозаводчика. Важнее, что он был замечательным писателем и выдающимся генеалогом. В этом он почти не имеет себе равных и, благодаря своим работам, заслужил общую признательность.

Карузо в своих произведениях был романтиком. Словно сама природа предназначила этого восторженного и чистого юношу встать на защиту орловского рысака, что он и выполнил с таким талантом и присущим ему одному красноречием. Это был неисправимый идеалист, и как трудно представить историю русской культуры без Веневитинова и Станкевича,³⁰ так невозможно представить историю русского коннозаводства без Карузо. Между этими тремя именами – Веневитинов, Станкевич и Карузо – существует какое-то трогательное сродство. Короткая жизнь всех троих, как оборвавшаяся мелодия, прозвучала и оставила впечатление не только тихой грусти, но и чего-то недосказанного; ранняя смерть предохранила их от всякого налета земной пошлости, и образы эти, красивые и одухотворенные, будут долго жить в памяти потомства. Нечего и говорить, что такие люди дороги нам больше всего

³⁰ Дмитрий Веневитинов (1805–1827) и Николай Станкевич (1813–1849) явились представителями двух последующих поколений, но сходство их характеров и судеб знаменательно: из одной и той же дворянской среды, студенты Московского Университета, поэты-романтики, интересовались философией, причем одной и той же – немецким идеализмом, Кантом и Шеллингом, составили кружки единомышленников, отличались возвышенным образом мысли, страдали от неразделённой любви, отличались слабым здоровьем, рано умерли, оставили по себе светлую память.

общим обаянием своей нравственной личности. Возвышенный подход к теме, красота, с которой писал Карузо об орловском рысаке, оказали весьма существенное влияние на охотников того времени и вызвали немало подражаний. Монографиям Карузо, посвященным знаменитым рысакам, суждено было сыграть большую роль в формировании целой школы, именно из них почерпнули свое первое вдохновение и пишущий эти строки, В. О. Витт³¹ и другие писатели того же толка. Читая строки Карузо, вы неизменно приходите к пониманию, что перед вами правда, часто облеченная в красивую романтическую форму, но всегда правда, а потому все написанное им запечатлевается в уме и памяти навсегда. Автор, весь во власти своих образов, переживает невзгоды, выпавшие на долю орловского рысака, призывает вас бороться за лучшее будущее этой породы, и вы с трепетом следуете за ним и готовы откликнуться на его призыв. Следует сказать, что Карузо родился вовремя. Его появление на коннозаводском поприще должно было принести и принесло наиболее обильные плоды. Он жил именно тогда, когда должен был жить, чтобы сыграть в вопросе пробуждения интереса к орловскому рысаку ту исключительную роль, которую он в действительности сыграл. Когда мы познакомились, Карузо в то время был в зените своей славы: редактировал студбук (племенную книгу), авторитет его как писателя по вопросам породы достиг апогея. Он писал о породе так, как никто не писал ни до, ни после него. Его труды суть классические произведения, и мы глубоко сожалеем, что переживаемое нами время не позволяет нам собрать и издать отдельной книжкой его работы. Он был чрезвычайно увлекающийся человек, и когда говорил об орловском рысаке, то зажигался святым пламенем. Слушать его было наслаждение, запас сведений казался неистощимым. Я много тогда почерпнул из разговоров с Карузо и значительно расширил свой кругозор.

Как содержательны и как интересны были эти нескончаемые беседы о лошадях! Карузо был старше меня лет на десять и застал поколение коннозаводчиков, которое при мне уже сошло в могилу. Словом, то, что знал Карузо, никто другой так хорошо не знал. Как жаль, что он не написал своих мемуаров! Когда он рассказывал, то так увлекался, что, доходя до своих любимых лошадей и линий, возвышал голос или, как он шутя определил, «рычал» и метался по комнате.

³¹ Владимир Оскарович Витт (1888–1964), юрист по образованию и коннозаводчик по увлечению, подобно многим людям той же среды, после революции сделал увлечение профессией и в итоге стал крупнейшим ученым-иппологом. Заведовал кафедрой коневодства Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Автор многих трудов, среди которых специалистами, в том числе Бутовичем, особенно ценились и по-прежнему ценятся его обширные вступительные статьи к Племенным книгам рысаков и скаковых лошадей – верный путеводитель по породе.

Бицилли и «Бережливый»

Однажды Карузо сказал, что мне необходимо познакомиться с Бицилли,³² брендмайором Одессы: он знаток лошади, уже лет тридцать ездит по ярмаркам и покупает лошадей для одесских пожарных частей, знает и знал многих барышников. Я охотно согласился, и Карузо взялся устроить свидание. Через три дня мы должны были ехать к Бицилли, обещавшему нам показать лошадей своей пожарной части и рассказать, что знает о старине. Когда мы подъехали, была дана тревога и Бицилли лихо два раза промчался мимо нас по улице – это была любезность. Бицилли оказался интересным стариком, он много рассказывал занимательного о своих поездках по ярмаркам. Я его спросил, какую лошадь он считает лучшей из всех им виденных. Он сейчас же назвал Бережливого. Мы с Карузо невольно переглянулись. Дело в том, что Бережливый был и моим любимцем, сыном великого Потешного. Я попросил Бицилли рассказать нам возможно подробнее о Бережливом, и вот что мы услышали:

«Я видел Бережливого один раз в жизни, но никогда не забуду эту лошадь, эту минуту. Я был в Киеве и подымался вверх по одной из улиц; мимо меня вихрем пронеслась белая как кипень (пена) лошадь ослепительной красоты, запряженная в одиночные городские сани и покрытая голубой сеткой. В санях сидел пожилой уже господин в бобрах и сердито говорил что-то кучеру. Они пронеслись мимо меня, но я все же разглядел эту лошадь и побежал вдогонку, так как непременно хотел узнать, кто они. Однако скоро я потерял из виду седока и лошадь. Тогда мне пришла счастливая мысль спросить постового городского, и он без затруднения ответил, кому принадлежал выезд, и, лениво указав пальцем в переулок, сказал: «Возьмите налево, потом направо, и вы увидите и лошадь, и кучера». Я буквально побежал в указанном направлении и у здания Судебных установлений увидел выезд. Лошадь оказалась знаменитым Бережливым, а седоком был не кто иной, как сам Федор Артемьевич Терещенко, киевский миллионер, сахарозаводчик, землевладелец и знаменитый коннозаводчик. В тот день он был присяжным заседателем. Я больше часа любовался Бережливым. В нем было не менее пяти вершков росту,³³ сухости он был непомерной, красоты неописуемой, голову имел совершенно арабскую, с черно-голубоватой оконечностью храпа и черными же, большими и выразительными глазами. Спинка была как линейка, а хвост, густой и обильный волосом, ниспадал юбкой. Я никогда не видел ничего подобного. На шагу движения Бережливого были плавны, гармоничны, он особенно выступал, как бы гарцуя перед публикой. Наконец вышел Терещенко, сел в сани, кучер перевел вожжи, и Бережливый медленно тронул. Еще через миг они уже летели вниз по улице. Это был какой-то сон – лучшей лошади я не видал и никогда больше, конечно, не увижу», – закончил Бицилли. Я имел возможность проверить его рассказ, получив от Александра Николаевича Терещенко в подарок экран, принадлежавший его дяде Ф. А. Терещенко, владельцу Бережливого. Экран изображал великую лошадь. На экране – лошадь изумительной красоты, причем бросается в глаза ее необыкновенный по волосу и густоте хвост.

³² Из этой семьи вышел Петр Михайлович Бицилли (1879–1953), историк и литературовед, профессор Новороссийского и Софийского университетов.

³³ Рост лошадей измеряется от холки (спины) до земли, достигает обычно свыше двух аршин, т. е. 142 см. (в аршине 71 см.) Не повторяя «аршин», указывают лишь число вершков сверх аршин. Вершок – 4,4 см. Таким образом рост Бережливого от холки примерно 164 см.

На сопках Манчжурии

Как ни хорошо, ни приятно было в Одессе, но пришлось тронуться с эшелонном в Маньчжурию. Мы были в пути не менее месяца; в больших городах нередко были остановки на сутки, что дало мне возможность познакомиться со многими сибирскими городами.

Пензу я знал хорошо, но с Самарой не был знаком, и осмотр этого большого губернского города на Волге доставил мне удовольствие. Самара – город сравнительно новый, и я не нашел там никаких достопримечательностей. Во всех городах я прежде всего искал антикваров и старьевщиков в надежде найти что-либо интересное для своего собрания картин, фарфора и бронзы, но здесь я не только ничего не купил, но даже не видел ничего интересного.

Следующий большой губернский город – Уфа – поразил меня своим исключительно живописным местоположением: река Белая, горы, покрытые лесом, луга – природа края необыкновенно величественна. Я узнавал пейзажные мотивы, прозвучавшие в лучших картинах Нестерова. В Уфе было много башкир, и город, сохраняя русскую физиономию, имел несколько восточный оттенок. Большие сибирские города – Курган, Ново-Николаевск, Томск, Иркутск и другие – не произвели на меня большого впечатления. Из них Иркутск – наиболее крупный и благоустроенный.

Если сибирские города оставили меня совершенно равнодушным, то сибирская природа, угрюмая, с гигантскими реками и озерами, лесами и тундрами, произвела огромное впечатление. Можно было часами сидеть у окна вагона и любоваться ею. На станциях и остановках я большое внимание обращал на лошадей местного населения. Это были крепкие, сбитые и сильные лошади.

Перевалив через озеро Байкал, мы быстро приближались к месту назначения и наконец прибыли в Харбин, маньчжурский город, своеобразный и самобытный. Европейская часть его ничем, кроме роскоши, не отличалась от обыкновенных русских уездных или губернских городов. В Харбине был тыл, масса интендантов, обозов, складов, много офицеров и военных чиновников. В ресторанах нельзя было получить места: день и ночь все было полно прибывшими из действующей армии офицерами, которые кутили напропалую. О кутежах говорили везде, и они нередко принимали безобразные формы.

На улице я случайно встретил А. М. Коллюбакина, естественно, что мы с ним разговорились, он приехал из действующей армии на отдых, резко отзывался о главнокомандующем, генерале Куропаткине и предсказывал наш разгром. Пошел Коллюбакин на войну добровольцем и вскоре был убит на поле брани.³⁴

Из Харбина мы двинулись, имея назначением Мукден, столицу Маньчжурии. Но, не доехав до Мукдена, мы получили новое распоряжение: выгрузиться с транспортом за две станции до этого города, куда немедленно следовать походным порядком и остановиться у северных ворот города, построив вагенбург – вагонный лагерь. Когда мы прибыли на станцию назначения, было уже темно. Выгрузка закончилась лишь к полуночи. Ночь выгрузки, а затем и марш в темноте по незнакомой стране, в которую мы только вступили, без возможности ориентироваться по компасу и карте, будут долго памятли мне. В пути было страшно, все предметы выплывали неожиданно, принимая чудовищные размеры, а встречавшиеся своеобразные деревья с их редкими ветками и приплюснутыми вершинами производили жуткое

³⁴ Александр Михайлович Коллюбакин (1868–1915), кадровый офицер, один из основателей кадетской партии, за политические высказывания во время революции 1905 года был уволен в запас. Как неблагонадежный не подлежал мобилизации, но подал прошение на высочайшее имя и с началом Первой мировой войны был направлен в действующую армию. Погиб в бою под Варшавой. Тело Коллюбакина было найдено его дочерью, служившей сестрой милосердия, и доставлено в Россию.

впечатление. Приходилось часто останавливаться, чтобы проверить колонну. Однако все в жизни кончается, и с наступлением рассвета кончились и наши мытарства и страхи.

Благополучно прибыв к северным воротам Мукдена, мы построили вагенбург. Командир, полковник Блажиевский, уехал в штаб за распоряжением и вернулся лишь к вечеру, злой и недовольный. Его распекли за то, что он двигался «без всякой нужды» ночью и рисковал. Однако прав был Блажиевский, а не штаб корпуса: в распоряжении, которое как адъютант видел я, было ясно сказано: немедленно разгрузиться и двигаться. Как же можно было поступить иначе, будучи на театре военных действий? Я вспомнил слова Колюбакина, и сомнение закралось в мою душу: путаница и сваливание ответственности с одного лица на другое были в полном ходу и грозили привести к тому результату, к которому в конце концов и привели.

Восьмой корпус двинулся на юг, к Ляояну, вслед за ним и мы. Наш транспорт расположился по деревням, лошади стояли частью в китайских мазанках, весьма напоминающих своими размерами наши чуланы, большинство же – у коновязей. Ежедневная служба состояла в подвозе на позиции снарядов, продовольствия и приема раненых. Хотя мы считались тыловой частью, но находились в сфере огня. Впоследствии нас приравнивали к действующей строевой части, и мы получали ордена с мечами и бантами, как и строевые офицеры. Служба была тяжелая и ответственная. Мы, офицеры и нижние чины, жили по квартирам в китайских фанзах, а столовались все у командира. В свободное время жизнь шла однообразно, все развлечения – карты и вино. Так как я никогда не пил и в карты не играл, то после обеда и ужина редко оставался в обществе офицеров и, уходя домой, занимался чтением и вел переписку с друзьями и родными.

Несколько раз я ездил в Мукден и познакомился с этим городом. Мукден вполне, конечно, китайский город, и поначалу его жизнь меня интересовала, но затем быстро прискучила. Вопреки ожиданию, Мукден оказался очень бойким местом и торговля там шла оживленная: торговцы орали во все горло, зазывая в свои магазины, что плохо вязалось с моим представлением о китайцах как спокойном и медлительном народе. Посещение лавок антикваров доставляло мне большое удовольствие, хотя я почти ничего не покупал, так как никогда не интересовался разными *chinoiserie* – китайскими безделушками. За все время я купил лишь две замечательные, очень дорогие вазы Клаузоне – не тот рыночный товар, который в изобилии встречается в магазинах Европы.

Однажды совершенно случайно мне пришлось видеть, как везли китайца на казнь. Шум и переполох на улице стояли невообразимые, уже издали были слышны заунывные, резкие, протяжные звуки труб и звонкие, резкие удары в литавры. Музыка, если только это можно назвать музыкой, действовала на нервы и вызывала чувство беспокойства. Наконец показался кортеж: впереди, на лошадях, которые шли тропотой (род ускоренного шага), ехал какой-то начальник, за ним много конных с резными пиками, украшенными бумажными драконами и конскими хвостами, все было очень ярко и красиво. Поспевая за ними, бежала пехота, потом ехали музыканты с литаврами и большими трубами. Преступник стоял на коленях в телеге, запряженной тройкой лошадей, по сторонам и сзади ехала вооруженная стража. Руки преступника были связаны сзади, на груди висела табличка с надписью, голова не покрыта, выражение глаз какое-то неопределенное, как будто он ничего не видел и не понимал ничего. Эта картина произвела на меня жуткое и тяжелое впечатление.

Приблизительно в это же время меня постигла катастрофа: я едва не стал жертвой пожара. Я занимал большую фанзу. Правая сторона осталась у хозяев, середина, по-нашему передняя, была в распоряжении моего денщика, а в левой жил я. Все китайские фанзы построены по одному образцу и разделены на три части, посередине идет узкий проход, а слева и справа – канны, то есть сплошная кирпичная настилка. На этих каннах и живут китайцы. Вся постройка удивительно легкая и непрочная, крыша из тростника гаоляна, везде

дерево, а окна типично китайские, с легкими, в мизинец толщиной, деревянными рамами сложной ажурной работы, затянутые прозрачной бумагой.

В тот вечер я вернулся домой поздно, так как долго был занят в канцелярии, и вскоре лег спать. Засыпая, я смутно слышал какой-то гул, вероятно, в трубе, и подумал, что он похож на шум от едущего хорошего экипажа. Почти сейчас же после этого я заснул. Разбужен я был неистовым криком денщика: «Ваше благородие, спасайтесь!» Спросонья я не понимал, в чем дело. Повторившийся страшный крик денщика привел меня в себя, и я с ужасом увидел, что над моей головой бушует пламя, все качается и трещит. Еще несколько минут, и все это рухнуло бы на мою голову.

В минуты страшной опасности, а мне не раз пришлось стоять перед таковой, в особенности в революционные годы, самообладание и присутствие духа никогда не покидали меня. Я мигом вскочил с походной кровати и как был: в одной рубашке, на босу ногу – двумя или тремя ударами кулака высадил рамы и выскочил во двор. Крыша рухнула, и высоко над землей поднялся огненный столб дыма и искр. Если бы я растерялся и промедлил, я бы погиб в огне. Мой денщик как сумасшедший метался по двору, со всех сторон бежали солдаты, а я стоял на морозе, в снегу, в одной лишь ночной сорочке. На меня накинули шинель, и один из солдат взял меня на руки и так и принес в квартиру командира. Пожар продолжался каких-нибудь двадцать минут, все сгорело дотла – так велика была сила пламени.

На другой день выяснилось, что китайцы, жившие на другой половине фанзы, вечером совсем покинули деревню. Такие пожары стали довольно часто возникать и в других частях. Тогда были приняты самые строгие меры, и пожары прекратились. В огне погибло все мое имущество и 5 тысяч рублей денег; уцелели лишь вазы, да и то потому, что я их временно оставил у командира. Особенно жаль было шелковое белье, замшевые простыни, погребцы и другие необходимые вещи, привезенные из России, которые достать в Маньчжурии не представлялось никакой возможности. Пришлось все наскоро покупать и одеться в походных офицерских магазинах, размещавшихся в вагонах и разъезжавших по фронту.

В нашей и без того тяжелой походной жизни приходилось немало страдать и от ужасного климата. Эта страна вообще отличается обилием ветров, которые нередко достигают силы урагана. Тогда весь воздух затемнен тучами пыли, и в подвешенном состоянии эта пыль держится иногда несколько дней. Летом очень жарко, зимой свирепствуют снежные метели исключительной силы, хотя снега выпадает очень немного и он быстро тает. Воды сравнительно мало, словом, климат отвратительный.

Естественно, я обратил особое внимание на маньчжурских лошадей и осмотрел очень многих. Мне хотелось поближе познакомиться с этой породой. Маньчжурские лошади преимущественно светлых мастей: серые всех оттенков и белые. Вороные встречаются крайне редко. Лучшие экземпляры были почти всегда белые. У маньчжурской лошади есть одна отличительная черта, которая бросается в глаза: все они необыкновенно глубоки, а стало быть, низки на ногах; ноги очень плотные, с короткой бабкой, сухие и хорошо поставленные. Грудь широкая, плечо длинное, голова небольшая и породная, спина отличная, зад правильный, движения легки и нарядны; рост небольшой, от одного аршина до двенадцати с половиной вершков (не выше 130 см).

Несомненно, что суровые условия климата и маньчжурской жизни оказывают определенное влияние на эту породу, ибо выживает лишь сильное и наиболее приспособленное к борьбе за существование. Маньчжурские лошади развиваются медленно и достигают своего полного развития на седьмом и даже восьмом году жизни. Зато если уж маньчжурская лошадь развилась и окрепла, то она отличается высокой работоспособностью и долговечностью. Для местных условий, принимая во внимание состояние дорог, такие лошади незаменимы, но для европейских условий они непригодны и могли бы найти применение лишь на шахтных работах.

Война проиграна

Отступление от Мукдена, которое наша часть проделала под командой Блажиевского, останется у меня в памяти навсегда. Это был такой кошмар, что забыть невозможно, и хотя с тех пор прошло двадцать долгих лет, но и сейчас я содрогаюсь при одной мысли, что все это было.

Большое сражение под Мукденом мы проиграли, и войска спешно отступали на Харбин. Нам было отдано распоряжение стоять севернее Мукдена, у старого, давно заброшенного кладбища. Мы простояли там не менее двух дней. Мимо нас день и ночь непрерывной цепью шли обозы и имущество армии, и это заставляло людей нервничать и роптать: всем хотелось присоединиться к отступавшим обозам. Пошли глухие, зловещие слухи, что Блажиевский хочет предать часть и передать ее со всем имуществом в руки японцев. Оценивая положение трезво, я не находил его очень опасным, но, принимая во внимание беспокорство, охватившее, к вящему стыду, некоторых офицеров, посоветовал Блажиевскому построить часть и пристыдить трусов. Надо отдать должное Блажиевскому: он был храбрый офицер. Часть была выстроена, и Блажиевский, подсакав на полном карьере (он был превосходный ездок) к части, лихо поздоровался и громовым голосом сказал приблизительно следующее: «Ребята, трусы и малодушные хотят отступить, их смущают идущие на север обозы. Помните, что вы не обоз, а транспорт; что каждую минуту вас потребуют ваши братья на позицию и вы повезете продовольствие и снаряды и возьмете оттуда раненых. Да здравствует восьмой армейский корпус! Ура!» Громовое «ура» прокатилось по рядам, и Блажиевский отдал солдатам распоряжение расходиться по взводам и ждать. В эту минуту он был хорош!

Шум и грохот орудий, особый гул в воздухе, который незнаком тому, кто не принимал участия в бое или же не был в сфере огня, ружейные выстрелы, суматоха в тылу – все это сначала было далеко от нас, но теперь быстро приближалось. Было ясно, что японцы напирают, а мы отступаем по всей линии, покидая свои позиции. Обозы давно уже прошли, и людьми вновь начала овладевать паника. Было жутко, снаряды начали ложиться совсем недалеко от нас. В это время по шоссе карьером в коляске промчался какой-то генерал, окруженный взводом казаков.

Положение было серьезное, и надо было скорее отступить, иначе мы могли бы нашими повозками заградить путь регулярным частям, отступление которых шло полным ходом. А приказа из штаба корпуса не поступало. Блажиевский собрал совет офицеров, и все высказались за немедленное отступление. В это время к нам подъехал полковник генерального штаба, или «момент», как их называли в армии, окруженный полевыми жандармами, и как бешеный набросился на Блажиевского: «Чего вы тут стоите, почему давно не отступили? Хотите через час попасть в плен?! Немедленно отступить!» Блажиевский отдал приказ запрягать, и люди бросились к коновязям. Работа закипела, и буквально через пятнадцать минут все было готово к отступлению.

Блажиевский и возле него я как адъютант стояли с полковником генерального штаба и тихо разговаривали. Он сообщил нам, что сражение проиграно, войска уже отступили в разных направлениях и что о нас, очевидно, просто забыли и теперь считают, что мы попали в плен. Шел последний арьергардный бой, а наш корпус был уже далеко на севере, не менее как в двух переходах от нас. После этого сообщения полковник спросил фамилию Блажиевского, сказав, что доложит о нем главнокомандующему, и, пожелав нам счастливо выбраться из этой каши, тронул лошадь и на рысях двинулся на север.

Блажиевский в сопровождении адъютанта и трубача спокойно, шагом двинулся вперед, отдав команду следовать за ним. Все были настолько наэлектризованы и так стремились

вперед, что Блажиевский и я опасались, что нервы не выдержат и вся толпа повозок ринется вперед, сначала рысью, затем карьером, а затем все перемешается, сгрудится, свалится и в конечном итоге погибнет. Снаряды начали ложиться по сторонам, и Блажиевский, ехавший рядом со мной, беспокойными глазами спрашивал меня: «Ну как, выедем или нет, выдержат ли люди?» Он приподнимался на стремянах и во весь голос кричал: «Первый взвод, не налезать!».

Этот человек был прирожденный военачальник и замечательно владел собой. Но тревога передалась и лошадям, они плясали и подымались на дыбы, просясь вперед, едва сдерживаемые солдатами. Мы двигались шагом всего лишь минут пятнадцать, но каких томительных! Каждую секунду все могло обратиться в бегство, превратиться в бесформенную кашу и погибнуть. Спокойствие Блажиевского спасло транспорт. Когда люди немного овладели собой, он поднял высоко шашку, дав сигнал к вниманию, и тронул свою лошадь рысью. Казалось, что вздох облегчения вырвался у всех, и тысячная громада стройно и плавно тронулась на рысях вперед. Минут через десять, убедившись, что транспорт отступает в порядке, Блажиевский прищпорил коня и пошел на полных рысях.

Мы не отставали от него. Не прошло и двух часов, как мы были вне сферы огня. Блажиевский и я боялись лишь попасть на какую-нибудь обходную кавалерийскую японскую колонну, которые уже начали появляться впереди наших отступавших частей. Этого, к счастью, не случилось. К вечеру того же дня погода резко изменилась: задул холодный северный ветер, густые, темные облака поплыли по небесам, затем совсем стемнело и ветер превратился в ураган.

Когда весь воздух затемнило тучами, целыми столбами пыли, которая забиралась в рот, глаза и уши, лезла за воротник и не давала возможности дышать, отступление превратилось в невыразимый ужас. Однако останавливаться было нельзя, и мы двигались, вернее, ползли вперед. Эта адская погода держалась почти сутки, и казалось, что все боги Китая, все силы природы Поднебесной империи возмутились против нас и с небывалой силой набросились на дерзких пришельцев и нарушителей спокойствия. На третий день мы наконец установили связь со штабом корпуса. Блажиевский получил за храбрость высокий орден, и получил его по заслугам; не были забыты и офицеры.

Когда мы ещё стояли под Мукденом и мимо нас проходили обозы, то среди солдат пошел ропот об измене и предательстве. Русский человек необыкновенно падок на подобного рода выдумки и готов верить всяким небылицам, в особенности если они направлены против его начальников или же лиц, выше его стоящих на общественном поприще. Эта пагубная черта уже принесла и, конечно, еще принесет немало горя и несчастий самому же народу, и надо от всей души пожелать ему избавиться от нее. Когда уже более года я владел в Тульской губернии вновь купленным именем, встречные пьяные мужики кричали мне: «Порт-Артур!».

Сначала я не обращал на это внимания, но затем заинтересовался, памятуя пословицу «Что у трезвого на уме, у пьяного на языке». Мой кучер замялся и сначала отнекивался, но затем сказал: «Это вас, Яков Иванович, прозвали Порт-Артур, так как народ (причем ясно было, что и кучер разделяет это мнение) говорит, что вы были адъютантом генерала Стесселя и нажили с ним деньги в Порт-Артуре».³⁵

Нечего и говорить, что я не только никогда не был в Порт-Артуре, но даже не был знаком с генералом Стесселем. Что же могло вызвать подобную логику? Очевидно, следующее: знали, что я был на войне, был на Дальнем Востоке, был адъютантом. Затем я купил совер-

³⁵ Барон А. М. Стессель, комендант Порт-Артура, сдал крепость вопреки приказам командования и мнению совета офицеров. Был отдан под трибунал и приговорен к расстрелу, замененному на 10-летнее заключение. Через год, по велению Николая II, оказался освобожден.

шенно разоренное имение и в первый же год стал отстраивать его быстро, или, как говорили мужики, «по-военному», бросив на это дело крупные деньги. Итак, деньги у меня были, и они решили, что деньги были украдены на войне. Имя Стесселя было сначала очень популярно в народе, ко мне приезжали разные высокопоставленные лица, и потому крестьяне сделали вывод, что я важная фигура и был адъютантом у Стесселя. Вот так в прежнее время, да еще и теперь создавались и создаются «народные» легенды.

Вскоре после проигранного решительного сражения все почувствовали, что война проиграна бесповоротно. Людями овладели уныние и апатия, ничего не хотелось делать, и все помыслы были о мире и скорейшем возвращении в Россию. Генерала Куропаткина сменил на посту главнокомандующего генерал Линевиц, и я решил съездить в его ставку, чтобы там, в самом центре, выяснить, предполагается ли продолжать войну.

Я имел возможность сделать это, так как сын генерала Линевица, который служил при нем ординарцем, был моим хорошим знакомым: он окончил Пажеский корпус в том же году, когда я – Николаевское кавалерийское училище. Я был уверен, что молодой Линевиц посвятит меня во все, что было ему известно и не составляло тайну. Так и случилось. Линевиц рассказал мне, что война, вероятно, закончена; что хотя его отец и настаивает перед государем императором на продолжении ее, на сцену уже вступил граф Витте, и вскоре, очевидно, начнутся мирные переговоры. Линевиц просил меня не говорить об этом, и я дал ему слово молчать. Он принял меня мило и сердечно, как старого товарища, стал вспоминать Петербург. Мы сидели и болтали вплоть до обеда.

Перед обедом я собрался уходить, зная, что главнокомандующий обедает со своим штабом и, по этикету, мне неудобно было оставаться без приглашения. Однако все устроилось по-другому, и я удостоился чести быть приглашенным к обеду (очевидно, сын попросил отца, и один из адъютантов, если не ошибаюсь, граф Капнист, пригласил меня от имени Главнокомандующего). Это была исключительная честь, в особенности принимая во внимание мой корнетский чин, и я всецело был обязан тому, что оказался хорош с сыном генерала, а не тому, что был исправный офицер.

Я пошел в столовую вместе с адъютантом, а молодой Линевиц прошел к отцу. Я сейчас же был представлен присутствующим здесь генералам, а таковых было, начиная с начальника штаба главнокомандующего и кончая дежурным генералом, человек десять-двенадцать; кроме того, присутствовало несколько высоких чинов, вероятно, корпусных командиров или же командующих отдельными армиями. Мое появление среди этой военной знати вызвало недоумение, все с удивлением посматривали на две мои скромные корнетские звездочки.

Вскоре вышел генерал Линевиц и поздоровался со всеми. Это был бравый старик с длинными усами и удивительно приятным лицом. Когда он говорил, то иногда по стариковски шепелявил. Всю свою жизнь он провел, служа на окраинах, вдали от столиц и двора, а потому весь этот почет, эта громадная, казалось, прямо-таки неограниченная власть стесняли его. Во всяком случае, было ясно, что он ее не искал, что она пришла к нему. Он был во всех отношениях достойный, порядочный и всеми уважаемый человек и храбрый воин. Я смотрел на него и сравнивал его фигуру, лицо и манеру говорить с сыновними. Младший Линевиц был поразительно красив и, воспитанный в Пажеском корпусе, совершенно светский человек. Отец в нем души не чаял.

Во время обеда Линевиц спросил меня о моем заводе лошадей; как по мановению волшебной палочки, глаза всех генералов впились в меня и весь генералитет затих, пока я отвечал. Очевидно, сын подсказал отцу вопрос. После обеда Линевиц сейчас же ушел, а ко мне стали подходить штабные генералы и любезничать: они думали, что я будущий адъютант и, как знакомый Линевица-сына, имею должное влияние в ставке.

Пишу эти строки и, вспоминая слова старика Линевича о «моем знаменитом заводе», думаю: если бы тогда, двадцать лет назад, их услышал какой-нибудь выдающийся заводчик, как бы он поднял меня на смех! Знаменитого завода у меня тогда, конечно, не было, я был начинающим коннозаводчиком, но военные круги в этих тонкостях не разбирались, а мой авторитет как писателя по вопросам коннозаводства стоял высоко, потому неудивительно, что мои товарищи искренне считали, что завод у меня знаменитый.

Печальный инцидент

Неприятно касаться печального инцидента, которым в Манчжурии окончилась служба Блажиевского и других офицеров. Известно, что хищения в тыловых частях, имеющих дело со снабжением, а значит, с крупными деньгами, приняли в Русско-Японскую войну исключительные размеры. К сожалению, не избег этой участи и наш транспорт.

Блажиевский получал громадные деньги из походного казначейства на довольствие людей и лошадей, и часть этих денег, разные экономии, разницы на количестве и качестве распределялись по карманам офицеров. Происходил форменный дележ. По вечерам у Блажиевского шла крупная игра. Все это, конечно, не могло остаться незамеченным. Пошли доносы, и атмосфера стала очень напряженной и опасной. Совершенно неожиданно я получил срочное предписание явиться в штаб корпуса. Вызов произвел большое впечатление в транспорте, и, догадываясь о цели моего вызова, Блажиевский имел со мною объяснение. Я сказал ему совершенно откровенно, что, как адъютант строевой части, не принимал решительно никакого участия в денежных делах и оборотах, за все время не подписал ни одной хозяйственной бумаги, а потому совершенно неосведомлен в этих делах, что и скажу в штабе, если меня спросят. Блажиевский видимо, успокоился и начал меня благодарить, на что я довольно сухо ему заметил, что иначе я и поступить не могу, так как действительно ничего не знаю, а разным слухам, куда таковые не будут проверены, не могу придавать значения.

На другой день я уехал в штаб корпуса. Меня провели к адъютанту командира корпуса, ротмистру Папалазарю. Я давно знал Н. К. Папалазаря: он имел скаковую конюшню и был женат на херсонской помещице, семью которой я хорошо знал. В разговоре он сразу «взял быка за рога». Он сказал, что командир корпуса очень встревожен циркулирующими слухами и, зная, что мое имя не запятнано, просит меня откровенно сказать: правда ли, что в транспорте большие хищения. Затем Папалазарь добавил, что его положение очень неприятное и трудное, так как с Блажиевским он однополчанин, знает и других офицеров, своих однодивизионников. На это я заметил, что и мое положение не легче, так как в данное время эти офицеры – мои однополчане, а засим просил доложить генералу, что, будучи адъютантом, решительно ничего по поводу хозяйственных и денежных оборотов не знаю.

Меня пригласили к обеду и больше ни о чем не спрашивали. Генерал Мылов был любезен, но имел усталый и осунувшийся вид: тревожили дела на фронте и конечный исход войны. Прошло не более десяти дней, как совершенно неожиданно к нам в транспорт прибыл командир бригады генерал Воронов, опечатал денежный ящик и приступил к ревизии. Меня ревизия совершенно не касалась, и я остался в стороне. Были раскрыты крупнейшие злоупотребления, Блажиевский отстранен от должности, и, кроме меня, все попали под суд. Вскоре прибыл новый командир транспорта – пехотинец и принял дела и нашу часть. После расформирования транспорта офицеров судили – я в то время был уже в России. Кажется, все были оправданы, но ушли с военной службы.

Еще через несколько лет я встретил в Петербурге, на скетинге (катке) на Марсовом поле Блажиевского. Он был с молодой дамой, своей второй женой. Я был крайне поражен, узнав, что теперь он член Государственной Думы, куда прошел то ли от Херсонской, то ли от Бессарабской губернии.

Устои потрясены до основания

Уже стали не на ухо, а во всеуслышание говорить о скором мире. Наконец перемирие было заключено, я покинул Маньчжурию и выехал в Россию. Обратный путь прошел скорее, так как я ехал не эшелоном, а в пассажирском поезде.

Декабрьское восстание рабочих в Москве оказалось подавлено, но в глубине, в провинциальной России, все устои были потрясены до основания. Казалось, что монархия не выдержит и вот-вот рухнет. Особенно остро переживались эти события в Сибири, там во время моего пути революция была ключом. Вокзалы, особенно в больших городах, служили агитационными пунктами, собиравшими к приходу поездов громадные толпы народа. В поездах была давка; офицеры, которых было много, чувствовали себя неважно. Злобные взгляды пассажиров, крики, невероятный дым от курения, грязь в вагоне. Споры часто превращались в брань. Однажды на моих глазах озлобленные и выведенные из себя офицеры выбросили на полном ходу из поезда какого-то интеллигента, который самыми отборными словами ругал, оскорблял армию. К счастью, это прошло незамеченным, иначе на первой же станции нас разорвала бы толпа. Об удобствах в вагоне думать не приходилось, но мы все были и тому рады, что достаточно быстро продвигаемся вперед.

Станции превратились в Содом и Гоморру. Протолкнуться на перроне не было никакой возможности; чтобы подкрепить силы, нужно было ждать ночной остановки на большой станции. А на станциях шли митинги. Лица возбужденные, глаза злые и помешанные – люди напоминали зверей. Неизвестно откуда, из каких нор и щелей повылезали совершенно невероятные физиономии, каторжники, преступники, которых так много было в Сибири. Почти у всех в руках – «литература», то есть листки, прокламации и тучи юмористических журналов, которые еще больше разжигали страсти. Их читали запоем, вырывали друг у друга, и это была гнусная, отвратительная картина: страницы журналов, залитые красной краской, ругали, издевались, высмеивали царя, дворянство, духовенство. Самые невероятные по цинизму и подлости карикатуры во множестве украшали эти издания. Кто-то хорошо знал, что делает, и, наводняя подобной литературой Россию, отравлял массы и подстрекал их к убийствам, беспорядкам и бунту.

Мне особенно памятна Чита, так прославившаяся потом революционными эксцессами. Наш поезд подходил к станции ночью, издали было видно яркое зарево пожарища. Жуткую картину усугубляли непрерывные гудки паровозов. Шум гудков принижывал воздух и производил тревожное впечатление. Если бы я не перечувствовал этого сам, то никогда бы не поверил, что гудки могут так действовать на нервы и так волновать человека. Вокзальная толпа была особенно возбуждена, яблоку негде было упасть; из вагона никто и не помышлял выходить, и двери везде были заперты. Поезд шел настолько переполненным, что больше не мог принять буквально ни одного пассажира. От толпы отделилось несколько хулиганов, взявшихся ломать двери. Видимо, это занятие понравилось толпе, началась осада поезда, раздались крики «Смерть офицерам!», в окна полетели камни. Все мы были вооружены и готовились дорого продать свою жизнь. Но в это время, под гам, свист и вой толпы поезд двинулся в путь. Находчивости начальника станции мы обязаны своим спасением: наверное, немногие из нас остались бы в живых.

За Читой было спокойнее. Чем ближе к центру, тем больше наблюдалось порядка. Входившие пассажиры в страхе только и говорили, что о революции, ее ужасах. Мы их успокаивали и сообщали: здесь просто рай по сравнению с местами, из которых едем мы. На станциях за Волгой стали появляться жандармы и военные, хотя атмосфера все еще была очень напряженной. Власть чувствовала свою неустойчивость, что отражалось и на ее агентах.

Москва – Киев – Москва

Беговое общество

Москва, куда я приехал, напоминала военный лагерь, так много было всюду офицеров и солдат. На лицах прохожих – тревожное выражение, зато разные подозрительные физиономии держали себя подчас вызывающе и грубо. Таких было немало на московских улицах, но чистка города уже началась, и столица постепенно принимала нормальный вид.

В одно из воскресений я поехал на Ходынку смотреть бега. После годового пребывания в Маньчжурии так приятно было сесть в маленькие щегольские сани и лететь на рысаке по Тверской, мимо Страстного монастыря, других знакомых и таких милых зданий. Стоял солнечный и морозный день. Яркое солнце, быстрая езда и смена впечатлений – все это приятно возбуждало нервы и радовало. Казалось, что прожитый год, увиденные в пути ужасы – лишь тяжелый сон и что в действительности этого никогда не было, что все происшедшее где-то там, далеко-далеко в Сибири, а здесь ничего подобного быть не может. Однако уже через несколько минут я вновь почувствовал дыхание революции и понял, что еще далеко не все кончено и что много еще предстоит волнений и тревог.

Подъезжая к Александровскому³⁶ вокзалу, лихач перевел рысака на шаг, так как в то время виадук еще не был построен и приходилось проезжать под мостом или в стороне по железнодорожным путям. Обернувшись ко мне, лихач стал что-то рассказывать про свою лошадь, нахваливая ее резвость и силу бега. Я наклонился в левую сторону, чтобы лучше рассмотреть рысака, и в этот миг передо мной выросла, как из-под земли, отвратительная фигура с озлобленными глазами и, изрыгая проклятия, осыпала меня отборной бранью. Я инстинктивно схватился за шашку, но она была под пальто, а лихач тронул рысака и помчался во весь дух. Обернувшись ко мне, он добродушно улыбнулся и сказал: «Не обращайтесь на него внимания, ваше сиятельство (прежняя привычка московских лихачей так именовать седоков из «благородных»), их теперь вылавливают». Боясь, что я велю ему вернуться, он добавил наставительно: «Теперь его все равно уже не найдем». Очевидно, извозчик боялся потерять время, оказавшись в участке. Пришлось подчиниться его мудрому решению.

На бегах царило оживление, и так приятно было видеть красивый бег рысаков, оживленную толпу, лица, несколько не напоминающие зверских физиономий бушевавшей провинции, и, наконец, знакомых, с которыми не виделся столько времени и о которых столько думал на далекой окраине.

День был праздничный; по традиции, разыгрывался один из именных призов. В большой членской ложе собрались все знаменитые беговые охотники того времени. Тут были и Малютин, и Коноплин, и Коншин и многие другие. Коноплин своим певучим голосом, слегка присюсюкивая, приветствовал меня и, прихрамывая на левую ногу, направился мне навстречу. Все другие, прервав беседу, посмотрели на меня, а тем временем Коноплин представил меня Малютину и остальным, с кем я еще не был знаком.

В ложе было шумно и оживленно, когда вошел плотный господин в меховом пальто с барашковым воротником, в военной фуражке артиллерийского ведомства. Это был Н. С. Пейч, старший член Бегового общества, исполнявший обязанности вице-президента. По натуре он был довольно суровый человек. На голове у него красовалось несколько шишек,

³⁶ Ныне – Белорусскому.

и он тщательно прикрывал их волосами. Большой лоб, угрюмое выражение глаз, смотревших из-под насупленных бровей – Пейча все называли Папашей. Он был грозой всех наездников, мелких охотников и всего того люда без определенных занятий, который вертится вокруг бега и норовит сорвать то, что плохо лежит. Голос Пейч имел громкий, на проездах он нередко распекал кого-нибудь чисто по-военному (он вышел в запас в чине артиллерийского штабс-капитана.) Это был умнейший человек, превосходно владевший пером и хорошо знавший технику бегового дела. В обществе его многие не любили и боялись его злого языка и острого пера. Пейч держал небольшую призовую конюшню, вернее, отдельных хороших лошадей, которых удачно перепродавал начинающим охотникам, что, конечно, ставило ему в вину. Ни о ком не распространялось столько гнусностей и глупостей, и следует сказать, что многое было выдумкой и ложью. Пейч, несомненно, немало сделал для Московского бегового общества, почему мы охотно прощали ему его грехи, наряду с которыми он имел и большие достоинства.

Со стариком Пейчем у меня как-то сразу сложились хорошие отношения. В тот же день он пригласил меня к себе на вечернюю игру в карты. Я охотно принял его приглашение. Пейч жил в членских квартирах так называемого Красного флигеля,³⁷ и я увидел, что ворота заперты и охраняются двумя сторожами. Несмотря на то что я сказал сторожам, к кому еду, меня пропустили не сразу, и только после того, как один из стражей сбегал позвонить Пейчу по телефону. Ворота распахнулись, и через каких-нибудь пять минут я был у Пейча. Я выразил удивление, что в Москве в такой ранний час принимаются такие предосторожности, на что один из игроков ответил, смеясь, что Папаша – страшный трус и, не считая революцию завершённой, боится за свою драгоценную жизнь. У Пейча было, конечно, много врагов, и он имел резонные основания опасаться. Во время карточной игры он звонил по телефону сторожам бега: и к воротам, и в беседку,³⁸ и в канцелярию, спрашивая, все ли благополучно.

³⁷ Красный флигель, построенный из некрашеного кирпича, стоит в последнем повороте беговой дорожки при выходе на финишную прямую и настолько заметен, что раньше упоминался в отчетах: «У Красного флигеля голову бега берет, выходя вперед, и т. д.». Несколько переоборудованный, флигель сохранился в советское время, сделавшись Красным домом.

³⁸ Беседка, или Беговой клуб, – места на трибунах, отведенные для членов бегового общества, точнее, Императорского Московского общества поощрения рысистого коннозаводства.

Орловцы и метизаторы

Время бега было не только развлечением охотников и коннозаводчиков, но и деловой встречей, когда обсуждались будущие покупки и продажи, смены наездников, шансы производителей. Нередко тут же заключались крупные сделки. Помимо коннозаводчиков, охотников, барышников и лиц без определенных занятий, вертевшихся вокруг бегов, в членской ложе бывало немало представителей артистического, финансового и торгового мира, а также аристократии и военных кругов. Все это смотрело бега, в антрактах удалялось в залы, где играло, пило чай, закусывало за отдельными столиками и занималось флиртом и обсуждением политических новостей. Словом, на бегах жизнь была ключом. Можно сказать, что туда, в особенности в последние годы до революции, съезжалась вся Москва. Надо отдать должное московскому бегу: порядок всегда был образцовый, дело налажено идеально, программа интересная, трибуны лучшие в мире, и все вместе производило грандиозное впечатление.

Рано утром следующего после бегов дня я приехал на поездку. Около 10 часов ко мне подошел секретарь и от имени вице-президента пригласил меня к нему в беговую беседку на ранний завтрак. Около 11 часов я прошел в кабинет вице-президента. Им был П. С. Оконишников, первый на этом посту представитель московского купечества, до него почти семьдесят лет общество возглавляли коннозаводчики дворянского сословия. Когда я вошел в кабинет, там уже находилось несколько избранных охотников. Все это были воротилы бегового общества. Бесперывно входили служащие с докладом, отдавались различные распоряжения. Жизнь кипела, громадная машина Московского бегового общества шла полным ходом, велись бесконечные «лошадиные» споры об орловском рысаке и метизации. Сам Оконишников мало вмешивался в спор и как хозяин старался смягчить некоторые резкие выражения.

Это было время победоносного шествия первого поколения метисов, а потому споры шли яростные и никто никого не мог переубедить. Метизаторы, до того едва-едва сводившие концы с концами, пустив в заводы американских жеребцов и кобыл, получили резвых лошадей, которые легко били орловцев. За успехом пришли крупные выигрыши и, кроме того, сознание, что возврата нет, ибо чистота орловской крови уже утрачена. Это был своего рода шкурный вопрос, а потому метизаторы попросту не могли высказать беспристрастного мнения. Доставалось от них, отрицавших породу, и орловским лошадям, и самому графу Орлову. Орловцы, наоборот, отвергали метизацию, защищали Орлова и перевозносили нашего рысака. Особенно горячился Щекин. А Сонцов от злости не мог произнести ни одного слова и мычал, вращая глазами. Добрейший, но недалекий Дараган говорил Оконишникову, что, делая подбор, он умеет так смешивать крови, что получается точь в точь маседуан.³⁹ Коноплин мне подмигивал, но ядовито. Щекин произнес что-то о необходимости то ли установления, то ли усиления ограничений допуска метисов к бегам наряду с орловскими рысаками, и тут поднялся невообразимый шум. Мне показалось, что дело не обойдется без скандала. Но в это время раздался рык Пейча: «Что тут за безобразие в помещении вице-президента?» – и он важно, с неизменной сигарой в зубах вплыл в столовую. Это разрядило атмосферу, и бойцы принялись за завтрак. Однако через некоторое время спор о метизации возобновился. В сущности решалась судьба орловского рысака и того направления, которое примет в будущем русское коннозаводство. Вскоре должно было состояться собрание, к которому готовилась вся коннозаводская Россия, и в столовой вице-президента разыгрыва-

³⁹ Маседуан (фр. macedoine) – салат из разных фруктов, кушанье известное Л. Н. Толстому и некоторым его персонажам из высшего круга.

лась прелюдия к генеральному сражению. Большинство владели орловцы, так как американских лошадей имели тогда немногие коннозаводчики.

Когда спор немного затих, Пейч иронически заметил: «Мы тут решаем и спорим, а вот что скажет Главное управление государственного коннозаводства – не знаем». И он выразительно посмотрел на меня! Можно было подумать, что я, молодой офицер, представляю собой Главное управление – так пристально все смотрели на меня и ждали, что я скажу. Я пользовался благосклонным покровительством великого князя Дмитрия Константиновича, и от великого князя, главного управляющего государственным коннозаводством, зависело, утвердить или нет то или иное решение общества. Всем собравшимся известны были и мои статьи, и что великий князь разделяет мою точку зрения. Я с полной откровенностью сказал, что, насколько мне известно, великий князь сочувственно относится к ограничению метисов и утвердит таковое постановление собрания, если оно последует. Со всей злобой невоспитанного и грубого человека Телегин обрушился на меня. Коноплин поспешил спасти положение, ибо, как человек умный, прекрасно понимал, что сила на нашей стороне и что надо лавировать и ладить. Когда мы наконец разошлись с бурного завтрака, было уже темно. В город я возвращался с Коноплиным в его санях. Он любил править сам, правил мастерски и редко ездил с кучером. В пути он старался сгладить дурное впечатление, которое произвел на всех Телегин. Коноплин объяснил, что денежные дела Телегина в очень плохом состоянии и потому необходимо относиться к нему снисходительно.

Ближайшие после завтрака дни бег представлял собой муравейник: всюду собирались группами, пили чай компаниями, только и было речи, что о бурном завтраке, предстоящем собрании и метизации. Коноплин, зная соотношение сил, сказал мне: «Поздравляю, на вашей стороне подавляющее большинство». В тот же вечер я послал об этом телеграмму в Дубровский завод великого князя.

Поездка под Киев

Я никак не мог расстаться с гостеприимной Москвой и все откладывал и откладывал свой отъезд. Однако ехать было необходимо. Я уже имел случай упомянуть, что после смерти отца мой завод остался в Касперовке. По взаимному согласию наследников, Касперовка перешла в собственность моего старшего брата, который не любил лошадей и был против моего занятия коннозаводством. Он предрекал мне неминуемое разорение. Вскоре брат женился на баронессе Вере Кондратьевне Мейендорф, и я считал неудобным постоянно жить в Касперовке и держать там завод. Возник вопрос о переводе завода и покупке подходящего имения. Случай представился еще до моего отъезда на войну, и мною было куплено имение Высокие Байраки в десяти верстах от города Елисаветграда. При имении был хороший манеж и конюшни. Отличные постройки и близость города прельстили меня, и я купил Высокие Байраки, переименовав их в Конский Хутор. Земли было всего 150 десятин. Так как я не любил хозяйство, то полагал вести завод на покупных кормах. Это было капитальной ошибкой, главным образом из-за нее я впоследствии продал Конский Хутор и купил Прилепы.

Приехав на Конский Хутор, я стал устраивать дом, думая прочно обосноваться. Жизнь протекала однообразно, служащих было мало; кроме лошадей – нескольких коров и немного птицы. Дни я проводил на конюшне или же в доме за чтением старых коннозаводских журналов. С наступлением лета приехали мать и сестра и провели у меня несколько месяцев. Часто гостил Сергей Григорьевич Карузо, с которым мы продолжили наши коннозаводские беседы.

Мой знаменитый впоследствии белый жеребец Кот, от Недотрога, выступавший на ипподромах юга России, был тогда еще годовиком, но Карузо его очень хвалил, удивляясь, что Недотрог мог дать такую замечательную лошадь. Карузо не только не любил, но и не признавал Недотрога: он находил его родословную недостаточно фешенебельной и, когда я предложил Карузо покрыть Недотрогом одну из его любимых кобыл Брунгильду, он пришел в положительное негодование и объявил, что никогда этого не сделает, «ибо случка Брунгильды с Недотрогом была бы величайшим мезальянсом». Однако весной у Карузо не было свободных денег для посылки Брунгильды под одного из лучших производителей, и он решился покрыть любимую кобылу Недотрогом. От случки родился жеребчик, которого Карузо назвал Бреном – пустышкой. И этот Брен оказался резвейшей лошастью, вышедшей из завода Карузо.

Большой Всероссийский приз

Время шло, приближался день дерби.⁴⁰ Надо было ехать в Москву, куда к этому дню стекалась вся коннозаводская и спортивная Россия. В тот год, 1906-й, происходил особенно большой съезд: на дерби предстояло единоборство коноплянской Боярышни и лежневского Бюджета, о чем много говорили в спортивных кругах. Из Конского Хутора я заехал в Дубровку, оттуда – в Москву.

Приехал я в Москву дня за четыре до дерби и тотчас же отправился на бега. Проездки уже закончились, но в беседке собралось много охотников, шли оживленные разговоры и толки о кандидатах на почетнейший приз. На стороне метисной Боярышни, которую большинство считало фавориткой, было то преимущество, что на ней должен был ехать «король езды» Вильям Кейтон. На метисном Бюджете выступал его владелец Лежнев. Метисная кобыла Прости была резва, но ее шансы уменьшал ездок Константинов.⁴¹ После обеда разнесся сенсационный слух, что у Боярышни поднялась температура. Приехал Коноплянин, все устремились к нему, и он категорически опроверг пересуды.

Вечером возле бегов, на Башиловке, по балконам и квартирам членов общества и наездников горели огни, допоздна шли бесконечные разговоры о лошадях. Днем на Башиловке, Верхней Масловке и в Петровском парке можно было наблюдать выводки лошадей – это приезжие владельцы осматривали своих рысаков и решали их дальнейшую судьбу. Охотники и любители, съехавшиеся со всех концов России, группами заходили в конюшни, прося показать знаменитых рысаков, о которых они столько слышали и читали. Канцелярия работала вовсю, выдавая билеты и справки, а в бухгалтерии было трудно протолкнуться, так как многие приезжие коннозаводчики и охотники приурочивали к дерби получение выигранных денег, подчас порядочных сумм. И в городе – в парикмахерских, летних театрах и ресторанах – только и было разговоров, что о предстоящем дерби.

Настал день розыгрыша приза. С утра буквально вся Москва устремилась на Ходынское поле. Задолго до начала бегов охотники собрались в беседке, где уже накрывались столы для угощения членов и почетных гостей. Парадные комнаты были уставлены декоративными растениями, устланы дорогими коврами, всюду висели флаги. Стартер Петион разрывался и отдавал последние распоряжения для приема гостей. Администрация общества в сюртуках и цилиндрах выглядела торжественно и важно. Все служащие, приодетые в новые ливреи и формы, давно находились на местах. Ровно в два часа раздался звонок, возвестивший начало исторических спортивных состязаний. Трибуны накопили столько народу, что буквально яблоку негде было упасть; в ложах наблюдались первые красавицы Москвы, и в таких туалетах, о которых теперь совершенно никто понятия не имеет. Мундиры военных, цилиндры штатских – все двигалось, смеялось, шутило, играло и флиртowało. В членском зале было значительно чопорнее, но тоже весело и хорошо: здесь, помимо членов общества, охотников, коннозаводчиков, собралась вся московская знать, представители высшей военной и гражданской администраций.

Настал момент розыгрыша Большого Всероссийского. С места повел Кейтон, но замечательно держался и Лежнев на Бюджете. Боярышня выиграла у Бюджета лишь корпус, и то благодаря мастерской, исключительно боевой езде своего наездника. Бюджет прошел тоже блестяще. Обе лошади побили предельный рекорд четырехлеток.

⁴⁰ Так, по аналогии с призом для скаковых лошадей, учрежденным в XVIII веке в Англии Лордом Дерби, стали и в других странах называть главный приз сезона, причем, не только для скаковых лошадей, но и для рысаков. Тем самым подчеркивается, что речь идет о соревновании между лучшими из лучших.

⁴¹ Неясны причины пренебрежительного отношения Бутовича к Андрею Васильевичу Константинову, высококлассному наезднику дореволюционного времени.

Трудно описать тот подъем, который царит в первые моменты окончания бега. Не успеет затихнуть звонок, как все приходит в движение, мечется, бежит, кричит, машет платками, аплодирует и смеется. Шум над ипподромом стоит невообразимый, и можно подумать, что многотысячная толпа на несколько мгновений потеряла рассудок. Постепенно нервы приходят в порядок, толпа мало-помалу затихает, однако лишь до того момента, пока откуда-то справа со своим рысаком не покажется наездник-победитель.

В членской беседке вокруг Коноплина царит столпотворение вавилонское, его поздравляют, обнимают, целуют. Коноплин, красный и взволнованный, едва успевает пожимать руки, кланяться и благодарить. Отовсюду слышатся восклицания о резвости бега, гениальной езде Кейтона, замечательной кобыле Боярышне; иные вспоминают ее отца Бойца, другие – мамашу, американскую кобылу Нелли Р.

Все затихает лишь тогда, когда Коноплин сходит вниз на дорожку, дабы официально принять поздравление и получить дербийский бриллиантовый жетон с золотыми медалями. Красивейшая картина, самый волнующий момент всего торжества! Боярышня стоит на беговой дорожке, ждет хозяина, тут же и ее наездник Кейтон. Конюхи держат попону и капор кобылы, как какие-то особые реликвии. Фотографы шмелями вьются вокруг и готовятся уловить момент. Коноплин – возле Боярышни, он низко кланяется вице-президенту, принимая от него драгоценный дербийский жетон. Дают понюхать умной кобыле золотые медали и вручают их счастливому хозяину.

Все рукоплещет, радуется, забывая на миг человеческую зависть и злобу. А вечером, когда у «Яра» зажгутся огни, долго будут пировать охотники в кабинете добродушного и гостеприимного Коноплина, вспоминая блестящий бег Боярышни, езду Кейтона и всех дербистов.

«Рысак и скакун»

На второй или третий день после розыгрыша дерби, Пейч пригласил меня в кабинет вице-президента и имел со мной конфиденциальную беседу. Пейча заботило направление, которое приняло издание Генерозова – газета «Коннозаводство и спорт». Газета велась хорошо, имела большое распространение и была авторитетным органом. Под давлением партии метизаторов, прежде всего, Шубинского,⁴² а также благодаря крупной денежной поддержке от Ушакова,⁴³ Генерозов избрал резко отрицательное направление в отношении орловского рысака и вообще Московского бегового общества. Богач Ушаков не жалел никаких средств на пропаганду. Иначе дело обстояло в орловском лагере. Журнала у лагеря не было, средств тоже. Умный и дальновидный Пейч прекрасно понимал, что еще два года пропаганды против орловского рысака, как наши силы растут и дело будет вконец проиграно: ограничения отменяют – орловский рысак, прощай навсегда! Надо действовать. Пейчу пришла мысль создать новый коннозаводский орган, достаточно авторитетный, чтобы стать противовесом газете Генерозова. Я предложил Пейчу не основывать нового журнала, а войти в соглашение со старейшим московским спортивным органом «Журнал спорта», который издавал Гиляровский.⁴⁴ Однако Пейч справедливо заметил, что на слово Гиляровского полагаться нельзя: у журнала нет никакого направления, и он постепенно теряет авторитет и подписчиков.

В Москве тогда существовало еще одно спортивное издание, бульварный листок «Бега и скачки». Редактировал его Зверев, журналист талантливый, но беспринципный, да к тому же алкоголик. В Санкт-Петербурге выходил журнал «Коневодство и коннозаводство», но обслуживал преимущественно петербургские спортивные круги и в Москве решительно никакого распространения не имел. Выходило, печатного органа нет и его надо основывать.

Пейч весьма подробно объяснил, почему не только он, но и вся администрация общества просили меня взять на себя эту работу: с моим мнением считались, в статьях и заметках нередко ссылались на меня и мои работы, у меня были связи, имя коннозаводчика, что сразу же привлекло бы подписчиков и вызвало бы доверие к тем взглядам, которые будет проводить журнал. Я признавал правоту Пейча, только мне не хотелось брать на себя такую обузу, поэтому я сказал, что подумаю и напишу о своем решении из деревни.

Я уехал на Конский Хутор, дав согласие переехать в Москву и с 1 января 1907 года начать издание журнала. В начале октября, оставив завод на попечение своего управляющего, я переехал в Москву. С собою взял только библиотеку, обстановку трех комнат и повара, к которому привык. Квартиру мне отвели на бегу, в так называемом белом флигеле. Это было двухэтажное здание в восемь квартир, предназначенных для членов общества. Камердинером ко мне поступил некий Густав Герштеттер, который представил вполне надежные рекомендации от графини Генок д'Алтавилла. В несколько дней я удобно и

⁴² Николай Петрович Шубинский, присяжный поверенный, юрист и адвокат, муж М. Н. Ермоловой, артистки Малого Театра. Не разделяя, из сострадания к животным, рысистой страсти супруга, Ермолова упрашивала своего молодого кучера Степochку, возившего её из Москвы на дачу, ехать потише. Желая задобрить Степochку, она щедро давала ему на чай и брала с него обещание не гнать лошадь на обратном пути. Но именно чаевые побуждали кучера брать за кнут, чтобы добраться до ближайшего трактира как можно скорее. Об этом покаянно рассказывал Степан Никитич Татаринев, ставший в советские годы ипподромным наездником.

⁴³ Братьям Ушаковым принадлежали три химических завода и чайная торговля. Меценатствовал Константин Константинович Ушаков, который, по словам В. И. Немировича-Данченко, «являл из себя великолепное соединение простодушия, хитрости и тщеславия». См. П. А. Бурьшкин. Москва купеческая. Нью-Йорк, Издательство им. Чехова, 1954, стр. 195–196

⁴⁴ В книге В. А. Гиляровского «Москва и москвичи» (1926) есть отдельные зарисовки завсегдагаев ипподрома, но нет главы, где был бы представлен мир бегов, хотя такие главы отведены рынкам, ресторанам, баням, ночлежкам и другим сферам московской жизни.

хорошо устроился и начал подготовительные издательские работы. Времени было мало, приходилось спешить. Прежде всего следовало озаботиться подысканием надежного секретаря, который бы жил при редакции. Н. С. Пейч предложил своего сына. Гвардии капитан артиллерии Александр Николаевич Пейч⁴⁵ служил в Варшаве, недавно ушел в запас и по слабости здоровья оставил службу. Он охотно изъявил согласие, скоро подыскал для редакции квартиру на Петербургском шоссе и поселился там с женой.

Недолго пришлось думать о названии нового журнала, ибо все наиболее подходящие названия уже использовали другие издания. Больше всего мне улыбалось бы назвать журнал просто «Орловский рысак», но дать такой односторонний заголовок было невозможно: это сразу оттолкнуло бы скаковых охотников да и многих других. В конце концов пришлось остановиться на придуманном стариком Пейчем названии «Рысак и скакун». Вместе с А. Н. Пейчем мы съездили в верхние торговые ряды, купили столы, стулья, конторки, и уже через неделю над помещением редакции красовалась вывеска: «Еженедельный иллюстрированный журнал «Рысак и скакун». Теперь предстояло выработать программу, напечатать плакаты и поместить объявления о новом издании в газетах и журналах. Программа обсуждалась долго и была, на мой взгляд, проработана хорошо, так как охватывала решительно все, что касалось коннозаводского дела. Немало времени заняло приглашение сотрудников. Должен сказать, что почти все, к кому я обратился, охотно дали свое согласие. Многих я знал лично, других привлекла цель издания, наконец, третьи были справедливо возмущены направлением, взятым газетой Генерозова. Я засел за работу, и уже через неделю-другую в портфеле редакции накопилось столько материала, мы получили столько статей, заметок и даже рассказов, что можно было считать журнал на первые три месяца вполне обеспеченным. Журнал был задуман мною широко: изящное оформление, печать на хорошей веле-невой бумаге, богатые иллюстрации, цветная твердая обложка. Все это очень удорожало издание, но я решил, что стоит пойти на материальные жертвы. Я сам провел переговоры с типографией «В. Чичерин и К^о», подписав с этой фирмой годовой контракт, и могу смело сказать: всякий, кто познакомится с комплектом «Рысак и скакун» за 1907 год, скажет, что ни до, ни после в России не было такого роскошно оформленного периодического спортивного издания.

Старик Пейч торжествовал. Метизаторы были вне себя от злости, однако относились ко мне очень любезно, понимая, что со мной придется считаться. Умнее всех был, конечно, Коноплин, который избрал свой способ действия. Он, а за ним и Телегин частенько заезжали ко мне вечером, сидели на диване, вели разговоры, несколько раз предлагали даром покрыть моих кобыл американскими жеребцами или же купить у них метисных маток. Если бы их хитро задуманный план осуществился и я купил бы метисов или же случил своих кобыл с Чарло или Бароном Роджерсом, то дискредитировал бы задуманное дело и способствовал бы провалу орловского вопроса. Конечно, под шумок в беседке говорили бы: «Бросайте орловцев, заводите метисов, ведь даже Бутович – такой фанатик, а и тот проповедует одно, а делает другое». И подобным разговорам не было бы конца. С Коноплиным я был в отношениях настолько приятельских, что высказал ему все прямо, и больше он не подымал вопроса.

Все было подготовлено к выходу первого номера журнала. Я получил немало писем из самых глухих углов России с пожеланиями успеха, а до января оставалось еще много времени. Однако шло оно незаметно – в посещении знакомых, бегах, театров и ресторанов.

⁴⁵ В 1920-х годах Александр Николаевич Пейч, ответственный работник Центрального Московского ипподрома, организовал первые гастроли советских рысаков за рубежом. Гастроли прошли успешно, и, по мнению современников, успех в значительной мере был обеспечен умелым руководством А. Н. Пейча. Но у Бутовича с Пейчем-младшим отношения не наладились: сын, в отличие от отца, стал сторонником метизации.

* * *

Раз уж заговорил о ресторанах, приведу здесь рассказ о том, как мой дядя, М. И. Бутович, гениально и совершенно неожиданно для всех сымпровизировал новый род закуски, сборный салат, впоследствии получивший название «салат Оливье» и широко вошедший в обиход русской кухни.

Дело обстояло так. Однажды – это было в начале восьмидесятых годов – группа охотников засиделась на Бегах. Расходиться не хотелось, и за приятной беседой охотники незаметно провели время до первой ранней поездки. После поездок у всех разыгрался аппетит, так как со вчерашнего дня никто ничего не ел. Тут же было принято решение ехать в ресторан, который держал Оливье. Кто-то из охотников заметил, что в такой ранний час в ресторане никого нет.

Так и оказалось. Оливье принял гостей, но заявил, извиняясь, что все съедено, повара разошлись, провизию привезут нескоро, и он ничего не может предложить дорогим гостям. Тогда М. И. Бутович, который сам был знаменитым кулинаром и на своем веку проел не одно состояние, отправился на кухню, где убедился, что действительно, кроме остатков дичи и мяса, ничего не было. Тут-то и возникла у М. И. Бутовича гениальная мысль сделать из этих остатков салат, заправить его прованским маслом и в таком виде подать.

Оливье принялся рьяно помогать Михаилу Ивановичу. И через какой-нибудь час новое блюдо было создано. Когда Михаил Иванович его подал, гром апплодисментов приветствовал автора и его произведение. Блюдо оказалось действительно вкусным и всем понравилось. Оливье восхищался находчивостью М. И. Бутовича, сумевшего утилизировать остатки, которые в таком ресторане уже не шли в дело. Через несколько дней весть об этом происшествии и новом салате распространилась по Москве и посетители ресторана стали из любопытства требовать новое блюдо. Оно так понравилось, что Оливье ввел его в карточку своих блюд и назвал, с согласия М. И. Бутовича, салатом Оливье. Нужно ли упоминать, что этот салат вот уже почти сорок лет – одна из любимых и популярных закусок в наших ресторанах.⁴⁶

* * *

Приближалось время выхода в свет первого номера журнала «Рысак и скакун». Кому из работавших в прессе неизвестно чувство, охватывающее автора при появлении его первой литературной работы? Нечто подобное испытал и я, когда мой секретарь 6 января 1907 года в 7 часов вечера принес мне из типографии только что вышедший первый номер журнала. На обложке красовалось «7 января 1907 года» и «№ 1» (журнал выходил по воскресеньям, но был готов накануне – в субботу). Обложка плотная, голубого цвета, украшенная сложной виньеткой, с очень удачной и редкой фотографией, подаренной мне Н. П. Малютинным. Получив номер, я пошел с ним к старику Пейчу. Мы внимательно просмотрели весь журнал, и Пейч заметил, что номер все же отдает любительством. Это было отчасти верно, и дальнейшие номера вышли удачнее.

Желая дать читателям интересный художественный материал, я очень хотел привлечь к работе в журнале какого-нибудь писателя-беллетриста, уже обладавшего именем в литературе. Необходимо было, чтобы писатель знал коннозаводский быт и любил лошадей. Пере-

⁴⁶ Существуют разные версии происхождения знаменитой закуски, но версии сходятся в одном: случайный набор продуктов, что оказались под рукой. Блюдо, ставшее известным в России как «салат Оливье», обрело международную известность под названием «русский салат».

бирая в памяти все знакомые мне литературные имена, я пришел к выводу, что лишь один Эртель, если бы дал свое согласие, был бы не только ценнейшим сотрудником, но и украшением журнала. Александр Иванович Эртель⁴⁷ превосходно знал деревню, имел крупное литературное имя. Кроме того, он не просто любил, но и понимал рысистую лошадь, так как вырос на заводах Тамбовской и Воронежской губерний, где его отец служил в различных имениях в должности управляющего. Эртель был автором романа «Гарденины», где столько блестящих страниц посвящено описанию коннозаводского быта. Эти страницы, несомненно, лучшее, что есть в романе.

Наше знакомство произошло вскоре. Сейчас я точно не помню, устроил ли встречу кто-либо из общих знакомых или же она состоялась по письму. Александр Иванович принял меня в большой московской гостинице, где постоянно останавливался в то время. Он был, как я тогда узнал, очень богат. Впрочем, богатство ему дали не литературные его работы, а управление имениями наследников известного богача Т. И. Хлудова.⁴⁸ Эртель принял меня крайне любезно. Это был высокого роста рыжеватый блондин со значительной проседью в волосах и ясными голубыми глазами, выдававшими его германское происхождение. Сидел он в кресле прямо, говорил медленно, имел наружность почтенного дельца, мало напоминая писателя-семидесятника, как мы привыкли их себе представлять. Эртель сказал мне, что очень болен, давно не пишет, но если почувствует себя лучше, то охотно даст рассказ для журнала.

После этого мы довольно долго говорили о лошадях, затем разговор перешел на его роман «Гарденины». Эртель охотно разрешил мне перепечатать отдельные главы романа и затем, смеясь, рассказал мне весьма интересный эпизод: «Мой роман печатался в «Русской мысли». Вы, конечно, помните описание привода в Хреновое знаменитого Кролика, его исторический бег и затем трагическую гибель. Так вот, редакция весьма неудачно прервала описание бега, и слова «Продолжение в следующем номере» повергли в уныние немало любознательных читателей, заставили их месяц томиться, прежде чем они узнали, вышел ли Кролик победителем приза или же проиграл. Представьте себе, что нашелся такой фанатик и любитель лошадей, который не утерпел и прислал в редакцию телеграмму с оплаченным ответом, прося сообщить ему, выиграл Кролик этот бег или нет. По этому поводу в редакции много смеялись, а для меня это было лучшим доказательством того, что я сумел заинтересовать читателя этим своим описанием».⁴⁹

Хороший подбор сотрудников, корректное направление моего журнала привлекли к нему много подписчиков и создали редактору-издателю тот авторитет, которым я начал пользоваться в самых высоких кругах. Журнал у многих вызывал симпатию, благих пожеланий звучало еще больше, но, к сожалению, издание не окупалось, к концу первого полугодия обнаружился крупный дефицит. Надо было сделать платеж типографии в три или четыре тысячи рублей, а касса пустовала. В то время я на месяц уезжал на юг и просил взять эти деньги под вексель у коннозаводчика Сергея Васильевича Живаго, обещав погасить век-

⁴⁷ Дед писателя, Людвиг Эртель, происходил из берлинской бюргерской семьи, юношей попал в армию Наполеона и под Смоленском был взят в плен, а затем увезен одним из русских офицеров в воронежскую деревню. Перешел в православие, женился на крепостной девушке, приписался в воронежские мещане и всю последующую жизнь прожил управляющим в имениях Воронежской и Тамбовской губ. Должность наследовал отец писателя, тоже женившийся на крепостной. Мать Эртеля была незаконнорожденной дочерью помещика Беера. Бутович встретился с Эртедем в ту пору, когда тот отошел от литературы и вернулся к деятельности, какой занимался с молодости: опять стал служить управляющим имениями.

⁴⁸ Хлудов послужил моделью А. Н. Островскому для Хлынова в комедии «Горячее сердце» и Н. С. Лескову для Дяди в рассказе «Чертогон».

⁴⁹ Кролик бег выиграл, но вечером того же дня пал. В романе не раскрывается до конца причина гибели рысака, но есть намеки, что Кролик стал жертвой мести владельца проигравшего соперника. Возможно, был подкуплен недовольный хозяином парень из конюшенного персонала и либо опоил, либо обкормил Кролика, а вызванный на помощь ветеринарный врач проявил подозрительную нерасторопность и не сделал того, что надо было сделать – кровопускание, чтобы облегчить работу сердца.

сель осенью. Живаго был мой приятель и богатейший человек; к тому же все знали, что он занимается дисконтом (покупка векселей по цене ниже номинальной). И что же? В деньгах Живаго отказал. Пейч прислал мне телеграмму, прося срочно перевести деньги. Пришлось отправить деньги из Елисаветграда в Москву. Как мало солидарности было у русских людей! Ведь я боролся за общее дело, отстаивал интересы влиятельной группы коннозаводчиков. Но в трудную минуту помощи не оказалось! Как обидно, как характерно для прежних отношений – говорю прежних, так как теперь, когда я пишу эти мемуары, вообще говоря, нет никаких отношений между русскими людьми, кроме скверных и самых ужасных. Как все сложится в будущем, никому не дано знать.

Обитатели Красного флигеля

Чаще всего я бывал у старика Пейча. Николай Сергеевич жил напротив, в Красном флигеле, и не проходило дня, чтобы я не повидался и не посоветовался с ним либо у него на квартире, либо у себя, либо в вице-президентском кабинете. Иногда по вечерам мы с Папашей ездили в театр, всегда в карете, так как иначе возвращаться ночью было холодно: за заставой ветер дул, как «во чистом поле», и нередко мело. Пейч любил заходить ко мне утрами, когда я еще был в постели, посоветоваться о делах. Он был настолько осторожен, что никогда в этих случаях не начинал говорить, предварительно не посмотрев, не слушает ли кто под дверью. Ах, эти тайны бегового дома! Как они теперь далеки от нас!

Как-то раз утром Пейч сидел у меня на кровати и о чем-то говорил. В спальне была невыносимая жара, и Пейч расстегнул свою тужурку. Я заметил, что у него на шее висит довольно толстый снурок. Меня это удивило, и я стал спрашивать Папашу, что это за снурок. Пейч долго отнекивался, затем заглянул за дверь и шепотом сказал: «Я ношу день и ночь на груди крупную сумму денег – это на случай революции и захвата банков. Советую и вам сделать то же». Я от всей души расхохотался и уверил Пейча, что никакой революции больше не будет и банки не захватят никогда. Теперь я думаю о том, как смешон был я в своем самомнении и как был прав Пейч – видимо, он много лучше меня знал натуру русского человека и верно понимал сущность будущей революции.

В том же Красном флигеле, этажом ниже, жил Н. К. Феодосиев, человек также выдающийся, но совсем в другом роде. Уроженец Бессарабии, где у него в молодости было имение, он уезжал в Америку и там прожил очень долго. Ходили смутные слухи о том, что в Америку он был вынужден бежать, так как в порыве ревности убил свою жену. Чем занимался Феодосиев в Америке и как жил – об этом никогда не говорилось; известно было лишь, что там он изучил спортивное дело и вернувшись в Россию, скоро приобрел репутацию знатока американской лошади. Бессарабия была чересчур узким поприщем для человека такого полета, как Феодосиев, и, перекочевав в Петербург, он выписал из Америки впоследствии прославившегося наездника Вильяма Кейтона и таких американских лошадей как Пас-Роз, Сан-Мало и многих других. Можно смело сказать, что Феодосиев первым в России дал толчок к ознакомлению с американским рысаком и в течение ряда лет был наиболее убежденным пропагандистом орлово-американского скрещивания.

В Петербурге Феодосиев сошелся с девицей Валерией Маркс, которую переименовал в Веру Александровну и выдавал за свою жену. Это была некрасивая девушка, хорошо владевшая языками и самоотверженно преданная Феодосиеву. Феодосиев плохо владел руками, ноги его были совершенно парализованы – его приходилось одевать, раздевать, сажать в особое кресло на высоких колесах, в котором он и проводил целые дни. Бедной женщине приходилось нелегко, но она всегда была весела, любезна и мила. После смерти Феодосиева она осталась безо всяких средств, и Петербургское беговое общество пригласило ее на должность библиотечарши с хорошим окладом.

Роста Феодосиев был высокого, довольно полный, лицо удивительно красивое, породистое. Породы в этом человеке чувствовалась во всем, что неудивительно, ведь его мать – урожденная княжна Кантакузен. Несмотря на свою болезнь, одевался Феодосиев очень хорошо, с большим вкусом, всегда носил монокль. Он был превосходным собеседником, идеально владел французским, английским и немецким. Хуже всего он говорил по-русски, так как за долгое время жизни за границей основательно забыл родной язык. Он был воспитанным и чрезвычайно корректным человеком, даже спорил по-европейски, а не по-русски, то есть не кричал и не выходил из себя.

Вечерами у Феодосиева всегда можно было встретить охотников и услышать интересные беседы на коннозаводские темы. Часто собиралась американская колония: тут бывали старик Фрэнк Кейтон с женой, его сын Вильям и, наконец, Аббей. Феодосиев был их главой и вдохновителем: от него они получали директивы по пропаганде американского рысака. Тут не раз обсуждались шансы будущих езд, выработывались планы таковых и т. д. Словом, это был штаб, куда сходились все нити и где ушлый и дальновидный Феодосиев был главным действующим лицом.

Орловцы не любили Феодосиева и, за исключением меня, у него не бывали. Они называли его Далай Ламой и справедливо видели в нем главного врага своих убеждений и карманов. Некоторые шли так далеко, что считали его представителем американских коннозаводчиков и американского капитала.

Впервые я познакомился с Феодосиевым в 1902 году, когда купил у него жеребца Недотрога и Злодейку, моих первых лошадей. С тех пор мы поддерживали хорошие отношения; кроме того, я считал полезным быть в курсе того, что делается в стане врагов. Вот почему я часто бывал у Феодосиева.

Когда я решил продать своего производителя Недотрога, то Феодосиев убедил меня дать в американские спортивные журналы портрет Недотрога и объявление о его продаже. Он был уверен, что Недотрог уйдет в Америку, и ждал запросов. Ни одного запроса не поступило, никто из американцев не заинтересовался лошастью. Американцы – умный и практичный народ – экспериментам метизаторского характера предпочли работу в совсем другом направлении.⁵⁰ Теперь, когда прошло много лет, можно с полной уверенностью сказать, что Феодосиев ошибался, делая ставку на метиса. Правда, в первом поколении получают резвые лошади, но им, конечно, далеко до рекордов чистых американцев.

Бок о бок с дверью Феодосиевых находилась дверь квартиры Д. Д. Бибикова.⁵¹ Какая это была колоритная и своеобразная фигура – Бибиков! Огромного роста, кутила, картежник, любитель женщин, спортсмен и поэт – вот облик этого человека. В молодости он промотал недурное состояние, много охотился, пил, любил и наконец появился в Москве. Здесь он сразу прижился, попал в беговое общество и вскоре был даже избран его старшим членом, но, пробыв в этой должности недолго, завел а затем ликвидировал призовую конюшню и, вообще говоря, определенных средств не имел, вел крупную карточную игру и жил игрой ума.

Бибиков был живой и очень добрый человек. Если у Феодосиева собирались исключительно завязанные лошадики, то у Бибикова можно было встретить более широкий круг. У него всегда бывали воронежцы: охотники, помещики и лошадики средней руки. Это был особый тип людей: одевались они в русские поддевки из тонкого черного сукна особого, воронежского покроя, имели по несколько лошадок и по столько же собачек, любили выпить и закусить: у Бибикова всегда был открытый стол и карты. Женщины полусвета любили посещать Бибикова, и именно у него впервые появились сестры Саратовы, впоследствии знаменитые красавицы, сделавшие карьеру с легкой руки Бибикова. Одна из сестер вышла замуж за миллионера Ушакова, затем разошлась с ним и вторично вышла замуж за графа Воронцова-Дашкова.

В квартире у Бибикова всегда было шумно, весело и нередко пьяно. Бедный Феодосиев много страдал от этого соседства, так как шум часто не давал ему спать; но, не желая ссориться с Бибиковым и его партией, молчал. Дело в том, что Бибиков был видным членом большой партии Сонцова, в которую входили барон Г. Н. Сисан фон Гольштейн, барон Н.

⁵⁰ Под «другим направлением» Бутович подразумевал односторонность отбора по резвости, что, с точки зрения знатоков, вело к «невыравниваемости по экстерьеру» – внешней разнохарактерности американских рысаков, между тем Бутович особое значение придавал выработке породного типа орловцев.

⁵¹ Из семьи Бибиковых вышел один из лучших наездников советских времен А. В. Ивашкин.

Н. Штейнгель⁵² и другие влиятельные и крайне спаянные между собой люди. С их группой приходилось считаться не одному Феодосиеву.

К числу страстей Бибикова относилось и увлечение рыбной ловлей. Однажды он увлек меня с собой на Сенеж. Это громадное озеро особенно излюблено рыболовами. Озеро имеет действительно великолепный вид, но природа кругом сурова и как-то тревожна. Я провел с Бибиковым несколько часов и изрядно скучал, так как никогда не увлекался рыбной ловлей. Бибиков же сидел неподвижно и, казалось, весь ушел в созерцание поплавков своих многочисленных удочек. Поздно вечером мы вернулись в Москву; больше я никогда не ездил на рыбную ловлю, но зато убедился, что Бибиков на Сенеже удил рыбу, а не дебоширил.

Еще до моего переезда в Москву Бибиков одно время держал лошадей пополам с М. М. Бочаровым. Они что-то не поладили, Бочаров пришел к Бибикову с объяснением и так вывел его из себя, что Бибиков схватил посетителя за шиворот и начал угощать тумаками. Силой Бибиков обладал громадной и, как все добрые люди, в гневе был прямо-таки страшен. Трудно сказать, что случилось бы с Бочаровым, если бы не вышедший на крик старик Пейч, который заорал во все горло: «Сэсет алез финитез!» – «Прекратить тузить!». Папаша никогда не говорил по-французски, но здесь, преисполненный волнения, что такое безобразие происходит на территории бегового общества, он вспомнил, не совсем правильно, французский язык и даже срифмовал слова. Благодаря тому что потасовка произошла вне стен общества, всё замаяли и потом много смеялись над рифмами Папаша. Долго еще, когда в обществе кто-либо начинал чересчур горячо говорить и волноваться, раздавалось знаменитое «Сэсет алез финитез!» – и все невольно смеялись и прекращали не в меру горячий спор. Последние семь-восемь лет до революции Бибиков, что называется, угомонился: стал жить скромнее, взял платное место судьи в обществе, часто ездил ловить рыбу, изредка выпивал, но карты бросил и лето обыкновенно проводил, после окончания бегового сезона, у своего друга Сонцова. Вскоре после революции, поняв, что все кончено, уехал в Воронеж и там скромно жил. Затем ушел с белыми, умер для красных, но по истечении некоторого времени вернулся под другой фамилией в родной город и кончил свои дни бухгалтером на бойне в Воронеже.

В нижнем этаже жил Андрей Аркадьевич Щекин. Про Щекина можно написать немало. Во время нашего знакомства он был в зените своей славы как коннозаводчик, спортсмен и лидер орловской партии в собрании Московского бегового общества. Это был небольшой человек, сухой и худощавый, но довольно широкий в плечах. Лицо его было покрыто веснушками, рыжие волосы начинали седеть; он носил пенсне, которое часто поправлял. Редко в своей жизни я встречал более энергичного человека, нежели Андрей Аркадьевич Щекин. С утра до вечера он носился то на бег, то на проездной круг, то на конюшню, то в город, то на собрание, то в баню, то к знакомым или в театр. Был крайне невоздержан на язык, и потому у него было немало врагов. Щекина нередко травили в печати, иногда прямо-таки смешивая с грязью. Главная причина тому – зависть: Щекин был богат, счастлив, имел знаменитый завод и замечательную призовую конюшню. К несчастью, зависть является худшей чертой характера русского человека.

Щекин происходил из мелкопоместной дворянской семьи Курской губернии. С ним приятно было иметь дело. Приятной была и его семья: жена, умная, дельная и высокопорядочная женщина, сын, в то время очаровательный, красивый и воспитанный юноша.⁵³ Щекин, по окончании университета, удачно женился, и это положило начало его благосостоянию. Один старый курянин так рассказывал мне о женитьбе Щекина. В Курске проживала пожилая особа, имевшая средства, с единственной дочерью Марией Викторовной, отец

⁵² Барон Штейнгель исполнял на скачках ответственную обязанность стартера, имя его сохранилось в «скаковых» стихах: «И слышен Штейнгеля звонок».

⁵³ В советское время Виктор Андреевич Щекин – авторитет в области коневодства и животноводства, в соавторстве с В. С. Грицем опубликовал книгу «Хреновской государственной конный завод» (Москва, Сельхозгиз, 1955).

Марии Викторовны был, кажется, зубной врач, и в ее породе имелась доза еврейской крови. (Отсюда та практичность, которой в жизни и делах всегда отличалась Мария Викторовна.) Решив на ней жениться, Щекин на зиму переехал в Курск и привел с собой свою верховую лошадь. Он часто гарцевал верхом мимо окон Марии Викторовны и – наконец покорил ее сердце. Щекины дружно прожили жизнь, и жена всегда имела благотворное влияние на мужа. Выплатив из приданого жены доли братьям и сестрам, Щекин стал хозяином небольшого имения, начал ревностно хозяйничать, завел конный завод и удесятерил состояние. Мало-помалу Щекин – он слыл либералом – выдвинулся на фоне курской жизни и стал общественным деятелем. Вскоре он был избран щигровским уездным предводителем дворянства, но на этом общественная карьера Андрея Аркадьевича Щекина оборвалась. В Щигровском уезде Марков⁵⁴ объединил вокруг себя правые элементы и повел наступление на либералов. Эта эпическая борьба получила известность далеко за пределами Курской губернии. Марков выиграл борьбу. Либералов обвинили в разных неблагоприятных поступках, а Щекина даже исключили из числа дворян. Трудно и едва ли интересно разбираться сейчас, кто был прав, но общественная карьера Щекина кончилась раз и навсегда. У меня в библиотеке имеется брошюра «Моя исповедь, или экспроприация чужой жизни кандидата прав Щекина», в которой он полемизирует с правыми. Вероятно, это единственный существующий экземпляр. Потерпев крушение в Курской губернии, Щекин со всем рвением отдался коннозаводскому делу и перенес свою деятельность в Москву, избрав ареной Московское беговое общество.

К этому времени относится и расцвет его призовой конюшни. Следует воздать должное Щекину: он немало поработал над тем, чтобы установить ограничения для метисов, чем оказал громадную услугу орловскому коннозаводству. Я часто бывал у Щекина, который в то время как коннозаводчик и спортсмен гремел на всю Россию, и старался у него почерпнуть сведения по коннозаводству. Так или иначе, дурное погребено временем, хорошее осталось, и фигура Щекина все ярче выделяется на фоне уже ушедших коннозаводских деятелей.

Сможет ли мое слабое перо передать, восстановить хотя бы отчасти яркий и положительно неповторимый образ Вани Казакова? Сомневаюсь в успехе, тем не менее начну. Иван Иванович Казаков – единственный сын коннозаводчика И. Д. Казакова и француженки. Его отец, богатейший человек, полковник гвардии и барин до мозга костей, был одной из виднейших фигур Петербургского бегового общества. Лошади Казакова отличались редкой красотой, и среди них две – Кречет и Серебряный – достояние истории. Кречет долгое время состоял производителем в заводе князя Л. Д. Вяземского, а Серебряный дал Подарка, от которого произошел Палач. И. Д. Казаков был знаменитым коннозаводчиком, но к сожалению, он ликвидировал свой завод, после чего долгое время прожил за границей. Когда он вновь вернулся в Россию, его единственный сын Иван вырос и настолько полюбил лошадей, что отец, передав ему одно из тамбовских имений, сам, с редким вкусом и знанием дела собрал ему завод. Вскоре старик Казаков умер, и Иван Иванович стал наследником его громадного состояния. К счастью для него, часть состояния перешла к его матери и двум сестрам. В какие-нибудь десять-двенадцать лет сын спустил все состояние отца, продал завод и разорился. Это было своего рода искусство, ибо он промотал состояние, живя в Тамбове. Чего он только не выделял и как только не тратил денег! Словом, Казаков остался без гроша. И тут-то ему пришла на помощь семья. Казаков перебрался в Москву, поселился на бегах и, кроме того, арендовал хутор под Рязанью. Он решительно ничем, кроме лошадей, заниматься не мог, опять завел рысистый завод и сделал это очень удачно. Вот в эту-то пору я и познакомился с Ваней в Москве. Он жил с красивой, но довольно вульгарной женщиной,

⁵⁴ Николай Евгеньевич Марков 2-й (1866–1945), соучредитель Курской Народной партии порядка, председатель Совета Союза Русского Народа, один из лидеров черносотенцев, депутат Госдумы от Курской губернии. В 1920 г. эмигрировал в Германию.

которую выдавал за свою жену. Так как состояния у него не было, то единственный его доход составляли призы и продажи лошадей.

Казаков был небольшого роста, очень живой, говорил скороговоркой, жестикулировал и очень напоминал француза дурного тона. В нем не было и тени величия, барства и аристократизма его отца. Я часто бывал у него и наблюдал удивительные картины. Казаков был неподражаем во время продажи лошадей. Казалось, он и мертвому может продать любую лошадь. В этом отношении конкурировать с ним не мог никто. Врал он немилосердно и расхваливал своих лошадей свыше всякой меры. Тут же на столе стояли неизбежные горячие закуски, вина, водки, и г-жа Казакова усиленно потчевала покупателя. При сделках присутствовал и помогал хозяину наездник Дмитриев-Косой. Дмитриев косил глазами и был продвунной плут, так что на нем вполне подтверждалась поговорка «Бог шельму метит». Словом, эта почтенная троица брала в оборот покупателя, доводила его до полного одурения и наконец втридорога продавала лошадь. Сплошь и рядом на другой день покупатель, придя в себя, ехал узнавать, какую же лошадь он купил.

Описать все проделки и чудеса, которые вытворял Казаков, положительно невозможно. Общество, если только это можно назвать обществом, собиралось у Казакова самое невероятное. Тут были и охотники, и любители, и барышники, и наездники, и цыгане, и какие-то подозрительные дамы, и даже иногда духовные лица. Со всеми Казаков шептался, затевал какие-то дела, плутовал, выворачивался, наживал и терял деньги. Свободных денег у Казакова никогда не бывало, он вечно нуждался и всегда перехватывал у знакомых. Это была не жизнь, а какой-то водоворот. Конечно, в беговом обществе он не пользовался никаким авторитетом и влиянием, но в уважение к заслугам его отца с ним мирились и на все смотрели сквозь пальцы. По натуре это был очень добрый человек, и его было искренне жаль. Однако мне, как это ни странно, казалось, что он вполне счастлив и доволен своей жизнью. Казакова все любили, и у него не было врагов. Если бы кто-нибудь позволил себе что-то враждебное по отношению к нему, то перед ним закрылись бы все двери. Ване все сходило с рук.

Однажды вечером я зашел к Казакову и застал его одного – это была редкая удача. Я этим воспользовался и провел часа два в приятнейшей коннозаводческой беседе. Сейчас же чувствовалось знание лошади. Как коннозаводчик, он обладал большим талантом, и, если бы он получил другое воспитание и не сбился с пути, из него, вероятно, вышел бы замечательный во всех отношениях человек. Он особенно преклонялся перед лошадьми двух заводов – герцога Лейхтенбергского и М. Г. Петрово-Солового. Во время Мировой войны, кажется в 1916 году, совершенно случайно проезжая по Поварской мимо Коннозаводства,⁵⁵ я решил заехать посмотреть лошадей. В конюшне я увидел Ваню Казакова. Он бросился ко мне с бурным проявлением радости: «Тут есть такая кобыла, что ты все пальчики оближешь! Впрочем, ты запоздал, я ее уже купил». Я ни на минуту не усомнился в том, что Казаков, первостатейный враль, сбrehнул о покупке «замечательной кобылы», а что она была замечательная, в том я тоже не сомневался: Казаков был тонкий знаток лошади, человек с большим чутьем. Кобыла оказалась действительно замечательная, исключительно породная и чрезвычайно женственная. В годы революции я случайно встретил Ваню Казакова на Молчановке. У него был блуждающий взор и очень потрепанный вид. Вскоре он умер в больнице для душевнобольных.

⁵⁵ То есть Главного управления государственного коннозаводства. В этом здании, бывшем особняке князя Гагарина, в настоящее время находится Институт мировой литературы им. А. М. Горького. В том же доме доживала свой век М. А. Гартунг (1832–1919), вдова управляющего Императорскими конными заводами генерала Гартунга, дочь Пушкина, которая своим «породистым» обликом подсказала Толстому образ Анны Карениной.

Коноплин и Телегин, Малютин и Коншин

Коноплин – красивый мужчина средних лет, типичный великорус с голубыми глазами, светлыми волосами, рано пополневший, с медленными, ленивыми движениями; воспитанный человек, с которым было приятно говорить и иметь дело. Он был ярким метизатором, обладал первоклассной конюшней и таким же заводом орловско-американских лошадей. Коноплин был обворожительно милый человек, впрочем не лишенный хитрости. Принадлежал он к дворянству Тамбовской губернии; отец его умер, когда он был ребенком. По достижении совершеннолетия он получил во владение миллионный капитал и громадное имение. Как страстный охотник, он сейчас же завел призовую конюшню и имел с ней исключительный успех. Почти тридцать лет Коноплин был первым призовым охотником в Москве, а стало быть, и во всей России. Позднее он завел конный завод. Потерпев полное фиаско при разведении орловской лошади, Коноплин перешел на метизацию, поправил дела, вывел двух рекордистов.

С большим торжеством Коноплин отпраздновал 25-летие своей деятельности и через несколько лет ушел на покой, в два месяца распродал и весь завод, и всю конюшню, и даже знаменитую дачу на Башиловке, где он прожил свыше двадцати лет. Коноплин совершенно отошел от бегового дела, и когда позднее его просили вернуться, чтобы занять крупнейший выборный пост в беговом обществе, он отказался. Его решение всех как громом поразило, никто не ожидал, что Коноплин может уйти от любимого дела. Официальным поводом была выставлена болезнь и категорическое запрещение волноваться, а стало быть, и заниматься охотой, так как последняя без волнения невозможна. Я был очень хорош с Коноплиным и один знал истинную причину столь решительной коннозаводской ликвидации. Коноплин мне по душе сказал, почему он решил навсегда уйти с бега: хотя здоровье его действительно было слабо, но «ослабел» также и его карман. Он, конечно, был еще богат, но средств, необходимых, чтобы первенствовать, уже не доставало. Он не захотел постепенно сходить на нет и предпочел быструю ликвидацию в момент успеха и славы. Поступил Коноплин чрезвычайно дальновидно и умно, так как выручил крупные деньги и ушел с поля битвы, увенчанный лаврами победителя и с именем первого русского охотника, которого все ценили и которому подражали многие. К сожалению, представители русского дворянства не всегда умели так красиво уходить с арены своей деятельности, и в этом было несчастье всего нашего сословия.

Коноплин имел на меня несомненное влияние. Обаятельная личность, громадные познания и опытность, положение в Москве и успехи его призовой конюшни, которая первенствовала на столичных ипподромах, – всё это не могло не подействовать на меня. Позднее наши отношения приняли самый теплый и сердечный характер и такими остались на всю жизнь. Первые годы увлечения прошли, я стал более самостоятельно смотреть на коннозаводское дело, освободился из-под влияния Коноплина, но отношения от этого не пострадали, а приняли еще более приятный и ровный характер.

В последний раз я попытался склонить Коноплина не покидать ипподром, доказывал ему, что с его стороны это временная слабость, упадок духа и что его конюшня, и далее выигрывая 100–200 тысяч, сама себя окупит. Тогда Коноплин сказал мне буквально следующее: «Нет, Яков Иванович, вы недооцениваете завод Телегина. Сочетание Барона Роджерса и Могучего – это такое сочетание, которое вскоре заполонит своими представителями все столичные ипподромы. Если с самим Телегиным ничего не случится, помяните мои слова: он будущий монополист и через три-четыре года все крупные призы будут в его руках. Борьба с ним невозможна». Коноплин оказался прав: следующие десять-двенадцать лет стали сплошным триумфом телегинского завода.

Телегин никак не мог понять, что мог я отказаться от такой милости, как даровая случка с Бароном Роджерсом, и, продолжая бывать у меня, настаивал на том, чтобы я плюнул, как он говорил, на орловцев и заводил скорее метисов, благо представляется такой случай. Я вступил в спор с Телегиным, обвиняя его в том, что он губит тот выдающийся орловский материал, который не он создал, а получил уже готовым от отца. Надо знать характер Телегина, его самовлюбленность и самомнение, чтобы представить, как он взбесился. Он совершенно вышел из себя и уходя заявил, что придет время, когда я все же заведу метисов и брошу орловцев, и что ничего, кроме дряни, не выведу, покуда буду иметь орловский завод. Теперь, вспоминая пророчество Телегина, могу сказать: хотя вывел на своем веку немало дряни, но вывел также и немало хороших лошадей. Орловский завод я не только не бросил, но в какие-нибудь десять лет превратил в один из крупнейших питомников орловской лошади в России. Последние годы перед революцией завод мой занимал по выигрышу одно из первых мест.

В одном оказался прав Телегин: я завел гнездо метисов, правда, небольшое. Но вот от него-то я действительно не отвел ничего замечательного, и мои метисы были хуже моих орловцев. Завел я гнездо не по-охоте, а исключительно из материальных соображений: были хорошие покупатели на метисов и я продавал приплод от своих метисных маток по телегинским ценам.

«Какую лошадь из всех виденных вами вы считаете резвейшей и какую считаете самой красивой?» – эти два вопроса я имел обыкновение задавать людям, причастным к конному делу. Из всех виденных мной на бегу лошадей я считаю резвейшим Крепыша. Эта лошадь была весьма близка к двухминутной резвости, и после всего того, что пережила орловская рысистая порода лошадей в годы революции, появление вновь такой лошади едва ли возможно в ближайшем будущем.⁵⁶ Крепыш – прямой потомок серых Полканов. Это соединение и создало «лошадь столетия», как многие справедливо именовали Крепыша. Мы со своей стороны лишь добавим, что в этом столетии было две лошади, которые с равным правом могут носить этот гордый титул, – Крепыш и Потешный! И как первый, так и второй созданы буквально по одному заводскому методу, ибо Потешный также по прямой мужской линии – потомок серых Полканов, а по женской в нем чрезвычайно сильна кровь Полканов вороных. Крепыш есть не что иное, как Полкан, закрепленный, усиленный и в самой яркой форме представленный и выраженный.

Коноплин считал Крепыша самой резвой орловской лошадью, но говорил, что это феномен, счастливый случай, не более, и никогда второго Крепыша не будет. По красоте же Коноплин не мог представить себе лошади лучше Громадного – отца Крепыша. Когда он увидел его на Всероссийской выставке, то прибежал ко мне, весь красный, и с волнением сказал: «Пойдем смотреть Громадного. Ах, какая лошадь!» Нам вывели Громадного, он действительно был хорош. Коноплин с восхищением смотрел на него и только приговаривал: «Как породен, как аристократичен, все остальные лошади по сравнению с ним Егорки-сапожники». Громадный на выводке всегда как бы осознавал свое величие: он косил свой умный, красивый глаз, настораживал уши и спокойно стоял, предоставляя зрителям полную возможность не только любоваться, но и восхищаться им. Коноплин был прямо-таки влюблен в эту необыкновенную лошадь. Приходя ежедневно на выставку, Коноплин первым делом шел к Громадному и давал ему кусочек сахара, который каждое утро коноплинский камердинер Иван, тоже страстный лошади, заворачивал ему в папиросную бумагу и клал в жилетный карман. Сколько было в этой лошади аристократизма и подлинной красоты! Как хороша была шерсть, серебристо-белая, на какой-то синевато-розовой подкладке,

⁵⁶ Ирония истории: такая лошадь вскоре появилась, и появилась благодаря подбору родителей, осуществленному самим же Бутовичем, это был Улов, побивший рекорд Крепыша и приблизившийся, без двух секунд, к двухминутной резвости.

с просвечивающей сеточкой жилок! Таких лошадей, как Громадный, нельзя описывать, их надо видеть!

Павел Чернов, наездник, который знал и ценил Крепыша, все же резвейшей лошадью считал Искру, завода Телегина. Насколько же резва была Искра? Чернов говорил: «Не знаю, предела резвости не имела, версту летела, как пуля, а потом становилась в обрез, но на версту с ней не только ехать, но даже и равняться не могла ни одна лошадь – ни русская, ни американская». Мне удалось увидеть Искру в Москве, куда ее привезли из завода для случки с Крепышом, и по моему распоряжению фотограф снял с нее фотографический портрет. Это единственное имеющееся изображение Искры, ибо господа Телегины были весьма малокультурные люди и такими пустяками, как портреты лошадей, не интересовались. Ей было тогда 16 лет. В последующий год, жеребой от Крепыша, она, к величайшему горю всех истинных охотников, пала. Ходили слухи, что ее обкормили клевером. Телегин получил известие о смерти Искры во время общего собрания; ему подали телеграмму, он ее прочел, побледнел, встал и вышел из зала, направившись в библиотеку. Через несколько минут ко мне подошел Прохор (он заведовал библиотекой) и доложил: «Вас просит Николай Васильевич». Встаю и иду. Телегин молча подает мне телеграмму, а слезы у него так и текут по щекам. Я понял, что случилось большое несчастье, подумал, что умер старик Телегин, но, признаться, такого несчастья, как гибель Искры, да еще жеребой от Крепыша, я не ожидал. В телеграмме стояло два лаконических, но страшных слова: «Искра пала». Подпись, и больше ничего. С Телегиным мы были враги и в жизни, и в убеждениях. Да, кажется, во всем. Но в ту страшную для него минуту он понял, что я, как фанатик орловского рысака, больше, чем кто-либо другой, пойму его горе и ту утрату, которую понес не только он, но все рысистое коннозаводство страны.

Самое большое впечатление произвел на меня Малютин, знаменитейший коннозаводчик, владелец лучших по резвости и формам орловских рысаков. Я знал, конечно, наизусть весь состав малютинского завода и при нашей первой встрече с особым чувством пожал протянутую мне руку.

Николай Павлович Малютин был среднего роста, с удивительно приятным, очень барским, тургеневского типа лицом; бел, как лунь; говорил он медленно, немного заикаясь. На бегах он бывал редко, и все относились к нему с почтением и предупредительностью.

Уже глубокий, больной старик, Николай Павлович по-отечески относился ко мне. Я бывал у него и стал в доме своим человеком. Малютин заговорил о том, что он вполне отдает себе отчет в значении моего журнала, но полагает, что материально мне будет очень трудно, и закончил с улыбкой: «Давайте нюхать табачок пополам!», то есть на половинных паях. Я его поблагодарил, но отказался, сказав: «Думаю, что и сам справлюсь с финансовой стороной вопроса». Это было заблуждение, и в конце года я поплатился крупной суммой за свое самомнение. В трудную минуту Николай Павлович, конечно, поддержал бы меня, но, увы, его уже не было в живых. Он умер летом 1907 года.

Малютин – редкий и во всех отношениях замечательный человек. И по сей день я свято чту память о нем. С начала зимы 1907 года я часто бывал у него. Я особенно дорожил знакомством с ним, так как видел, что здоровье его слабеет и что ему недолго осталось жить. Малютин охотно делился со мной воспоминаниями, а прошлое его было исключительно богато и интересно. Происходил он из именитой купеческой семьи, его предки обладали миллионами. Это был, если можно так выразиться, представитель старой купеческой аристократии. Вид у Малютина был действительно вполне аристократический. Среднего роста, довольно плотный, с крупными, но красивыми чертами лица, седой как лунь. Никогда более в жизни я не видел таких ослепительно белых волос. Усики он носил небольшие и такую же бородку. Говорил тихо, протяжно и немного заикаясь. В движениях был медлителен и спокоен. От всей его фигуры веяло спокойной важностью и чувством собственного достоинства,

тем чувством, которое, увы, так редко встречается у русских людей. Нигде, никогда и ни в каком обществе этот человек не мог пройти незамеченным. При его появлении неизбежно раздались бы и раздавались вопросы, любопытные возгласы: кто это? Он не только обращал на себя всеобщее внимание, но невольно как-то сразу привлекал к себе сердца. Нечего и говорить, что с ног до головы он был европейцем, подолгу жывал за границей, превосходно владел языками, был хорошо и разносторонне образованным человеком.

Однажды Живаго рассказал, как князь Л. Д. Вяземский покупал у Малютина знаменитого своей красотой белого жеребца Смелъчака. Смелъчак был удивительно хорош. Масти он был серебристо-белой. Голова изумительной красоты и выразительности, ухо маленькое, глаз большой, яркий, горевший агатом. Сердцем обладал невероятным, его иначе как в два повода не удавалось вывести из конюшни, а в свой денник он влетал пулей, причем два конюха не могли его удержать. На езде он был необыкновенно эффектен. Вот наступает приз – и Смелъчак начинает горячиться, Чернов, отвалившись назад, ничего не может с ним сделать. Так повторяется несколько раз, фальстарт следует за фальстартом, публика начинает волноваться. Стартер пускает лошадей. Смелъчак, конечно, потерял старт и идет сзади. Чернов умышленно ведет своего рысака далеко от остальных лошадей, но Смелъчак кипит, горячится. Кое-как овладев рысак, Чернов его выравнивает и пускает вовсю. Пространства для этого рысака не существует, он вихрем налетает на своих соперников и через мгновение несется уже далеко впереди. Публика, восхищенная этим зрелищем, начинает шуметь, волноваться, аплодировать – а жеребец неожиданно и без причины танцует на месте. Его обходят все участники бега, он остается далеко сзади, но все же успевает достать их вторично и выигрывает приз. Овациям нет конца, а красавца Смелъчака под гром аплодисментов ведут в великолепной красной попоне с кистями мимо гудящих трибун, и он горделиво выступает, изогнув лебединую шею кольцом.

В то время Вяземский управлял Уделами и был очень влиятелен в коннозаводских делах благодаря своей дружбе с графом Воронцовым-Дашковым и своей личной репутации коннозаводчика. Он нуждался в производителе для своего Лотаревского завода и мечтал купить первоклассного жеребца у Малютина. Малютин очень редко продавал лошадей, а классных в особенности, что, конечно, знал Вяземский. Трудному делу обещал помочь Вельяминов, дядя Вяземского, управляющий Московским удельным округом, также коннозаводчик. С Малютиным он не был знаком, но, наведя справки, услышал и узнал мало утешительного. Боясь получить отказ, который бы и Вяземского обидел и лично его поставил бы в неловкое положение, Вильяминов отказался от мысли непосредственного обращения к Малютину. Один из москвичей, хорошо знавший нашу среду, посоветовал ему действовать через Живаго, сказав, что тот хорош с Малютиным. Действительно, Живаго одно время был вхож к Малютину. Вельяминов лично приехал к Живаго и просил его посредничества, конечно, «не из-за куража, а по охоте, дабы подействовать Лотаревскому заводу обогатиться малютинским производителем».

Вельяминов, дипломат не из последних, так ловко повлиял на Живаго, что тот согласился, хотя и предупредил, что дело трудное. Зная Малютина, Живаго сказал, что, прежде чем ехать говорить с ним, надо уже знать, какую лошадь хотел бы купить князь. Вельяминов согласился и тут же составил и послал срочную телеграмму в Петербург. На другой день в первом часу Вельяминов опять приехал к Живаго и показал ему телеграмму, в ней стояло четыре лаконических слова: «Смелъчака любой ценой Вяземский». Прочитав телеграмму, Живаго только руками замахал и сказал, что об этом даже говорить невозможно, так как Смелъчак – писанный красавец, любимец Малютина, который считает его лучшим сыном Летучего, о Смелъчаке только и разговору на бегу, все им восхищаются, а про его резвость рассказывают прямо-таки чудеса. Наконец, ему доподлинно известно, что Малютин оставляет Смелъчака производителем для своего завода. Вельяминов опять пустил в ход дипло-

матические способности и достиг того, что Живаго пообещал говорить с Малютиным, предупредив, что надежды на успех нет никакой и что вообще дело потребует немало времени. Прощаясь с Вельяминовым, он со вздохом присовокупил: «Сколько же мне придется из-за князя выпить красного вина!», – намекая на то, что Малютин пил, и пил только красное вино и что немало придется провести вечеров за бутылкой вина, прежде чем наступит удобный момент сделать подход к Смелчаку.

Прошло три недели, а Живаго не подавал никаких вестей на Поварскую, где в своем великолепном особняке проживал Вельяминов. А Живаго зачастил к Малютину и однажды за обеденным столом так удачно повел дело, что Николай Павлович сказал-таки: «Я был бы рад, если бы лошадь моего завода поступила в Лотаревский завод», чем Живаго ловко воспользовался, показав телеграмму князя, которую имел при себе. Малютина прежде всего тронуло то, насколько деликатно действовали и Вяземский, и Вельяминов: они так высоко ставили малютинский завод, что даже не решились прямо вести переговоры. Произвела решающее впечатление и широта князя в оценке лошади.

За столом всё затихло. Все умолкли, затаив дыхание. Сейчас Малютин ответит на предложение Вяземского. Все ждали отрицательного ответа, но Малютин сказал: «В Лотаревский завод уступаю. Цену назначит сам князь». Взорвись в помещении бомба, сидящие за столом удивились бы ей меньше, чем словам Малютина. Живаго торжествовал, а вся остальная компания приступила уговаривать Малютина не продавать Смелчака. Анна Адольфовна, гражданская жена Малютина, неосторожно заметила, что наутро можно ждать другое решение. Малютин, сделав вид, что не слышит, встал, любезно попрощался с Живаго и сказал ему: «Прошу вас послать князю телеграмму».

В ту же ночь Живаго звонил Вельяминову. Того разбудили, он подошел к телефону и рассыпался в благодарностях, особенно за то, что Живаго даже не подумал о своем отдыхе и так поздно ему позвонил, дабы сообщить столь радостное для Лотаревского завода известие.

Вельяминов не напрасно носил свой придворный мундир: узнав подробности беседы, он понял, что вопрос цены такой знаменитой лошади, как Смелчак, столь любезно оставленный хозяином на усмотрение князя, очень щекотлив. Поэтому он просил Живаго прозондировать почву о цене, дабы именно эту сумму предложить за лошадь. Здесь Вельяминов явно шел ва-банк, но другого выхода не было. К тому же он не без основания рассчитывал на порядочность Малютина.

Малютин назначил 30 тысяч рублей, цену пустую, принимая во внимание хотя бы то, что и сам Смелчак еще мог выиграть от 20 до 25 тысяч рублей. Когда о продаже стало известно на бегу, там все заволновались и зашевелились. Никто, что называется, ушам не верил! Напрасно Анна Адольфовна два дня устраивала несчастному Малютину сцены, до обмороков включительно. Малютин остался верен слову. Все уже считали Вяземского счастливым обладателем лошади, которую я как-то давно в одной из своих статей назвал «Аполлоном среди жеребцов». Удивительно хорош был Смелчак!

Вяземский немедленно отреагировал на великодушие Малютина: он прислал замечательную телеграмму, где между прочим писал, что немедля выезжает в Москву, дабы лично принести Малютину глубокую благодарность. В этом заключалась роковая ошибка князя: его приезд погубил и ловкость Живаго, и всю дипломатию Вельяминова, а сам Вяземский остался без Смелчака.

Я хорошо знал князя Леонида Дмитриевича: человек государственного ума, но очень резкий, крайне вспыльчивый и, как это ни странно, не всегда тактичный. Князь хорошо знал, что все это приносит ему в жизни немало бед, но совладать со своим характером все же не мог. Так и тут: бестактность обидела чуткого Малютина и погубила все дело. Вот как это произошло.

Узнав о дне приезда князя, Вельяминов через Живаго условился о свидании и всех подробностях встречи двух знаменитых русских коннозаводчиков. Князь вместе с Вельяминовым приехал на дачу Малютина к двенадцати с половиной часам дня. Малютин встретил князя в передней и, проводя в гостиную, представил «жене». Гордый князь знал, кто эта «жена», но даже бровью не повел, поцеловал руку Анне Адольфовне. После чего ему представили виновника торжества Живаго, семейных и домашнего доктора, всегда находившегося при Малютине. После пятиминутного разговора Малютин предложил осмотреть рысаков. Вяземский предложение принял, и началась выводка.

Выводили мастерски, с той роскошью и помпой, как это всегда делалось у Малютина. Он, видимо, был в превосходном расположении духа и даже против своего обыкновения стал разговорчив. Вяземский искренне восхищался почти всеми лошадьми. Наконец вывели Смелчака. Вяземский молчал, затем нерешительно обратился по-французски к Вельяминову, что было, конечно, очень бестактно, ибо он не знал, говорит ли на этом языке Малютин, и выглядело так, будто князь не желает быть понятым окружающими: «Поразительно хорош, но все же мой Кречет был лучше».

Напрасно Вельяминов поспешил с диверсией – попыткой перевести разговор на другое. Малютин весь покраснел и сказал князю на этот раз тоже по-французски, что лошадь он ему уступить не может, так как видит, что Смелчак недостаточно нравится князю. И затем добродушно уже по-русски добавил: «Не жалейте, князь, что лошадь вам не нравится, и верьте вашему первому впечатлению – оно самое верное. Мы с вами, как старые коннозаводчики, это хорошо знаем». Так купец Малютин дал урок такта родовитому Рюриковичу, князю Вяземскому.

Говорил Малютин мало и очень медленно, однако то, что говорил, оказывалось всегда необыкновенно уместно и умно. Говорили, что его глаза и вообще лицо очень напоминали глаза и лицо Тургенева. Я не видел Тургенева, но, судя по портретам нашего певца дворянских гнезд, нечто общее, несомненно, было, в особенности в выражении глаз. Малютин был чрезвычайно добрый и мягкий человек. Многие считали его гордым и недоступным, но то, что принималось за гордость, в действительности было застенчивостью. Малютин трудно сближался с людьми, но в своих отношениях оставался верным и постоянным. Те, кто пользовались, как я, его расположением, никогда не забудут этого очаровательного человека.

В самой скромной и самой деликатной форме я коснусь здесь «жен» Малютина. Действительно женат он был один раз в молодости, детей не имел, с женой разошелся, и она вторично вышла замуж за доктора Бетлинга. Сын от ее второго брака был усыновлен Малютиным и после его смерти получил все состояние. После развода Малютин имел три или четыре привязанности, с которыми жил как муж и от посторонних требовал к ним самого корректного и джентльменского отношения. Этих дам он представлял не иначе как «моя жена» и тем предопределял форму отношений. Я знал двух его «жен»: А. А. Гильбих и А. К. Чернышеву. Анна Адольфовна Гильбих, немолодая женщина еврейского типа и такого же происхождения, была некрасива, криклива и невероятно кривлялась. Малютин очень ее любил и был невероятно чуток к тому, как относились к ней. Малютин баловал ее до безобразия, у нее не было только что птичьего молока. Тяжело было видеть этого почтенного барина-старика под башмаком такой недостойной женщины. Чернышева была молоденькая и красивая женщина из бедной семьи, потерявшая голову от той роскоши, в которую попала. Ей суждено было прожить с Малютиным только два или три года. Я позволил себе коснуться этих отношений лишь потому, что пишу о лицах, окружавших Малютина, а женщины в его жизни имели на него подчас решающее влияние, почему обойти их молчанием вряд ли возможно.

Много лет он жил на своей даче по Петербургскому шоссе, а на лето уезжал в Быки под Курск. Дача, принадлежавшая ранее конноторговцу Г. С. Бардину, занимала очень боль-

шую площадь. Спереди находился сад, заканчивающийся домом, затем небольшой круг для проводки лошадей и рядами несколько корпусов конюшен, потом шли помещения для служащих и другие постройки. Перед домом стояла главная конюшня, выстроенная уже Малютиным, отделанная особенно роскошно, там стояли лучшие малютинские рысаки. Нечего и говорить, что все содержалось в блестящем порядке. Дом, который занимал Малютин, был двухэтажный, деревянный, как и другие постройки этой дачи. Приемные комнаты помещались наверху, там же находилась и большая столовая, где за бесконечными обедами, завтраками и чаями протекала большая часть дня.

У Бардина эта столовая была парадной купеческой гостиной, где хозяин принимал своих именитых покупателей, среди которых были не только высочайшие, но и коронованные особы. Со времени Бардина уцелело лишь четыре обитых красным бархатом кресла; на спинках были прибиты дощечки с указаниями, кто на них когда-то сидел. У Малютина эти кресла стояли в правом углу столовой на небольшом возвышении, огороженные небольшим снурком малинового бархата. Забавно и трогательно было видеть эти реликвии недавнего прошлого. Вот что гласили позолоченные дощечки: «1867 года Мая 1-го дня Его Императорское Высочество Государь наследник Цесаревич Александр Александрович после осмотра лошадей удостоили своим посещением Григория Савельевича Бардина и изволили сидеть на этом кресле. Потому я в ознаменование для меня столь радостного дня оставляю сие кресло на память моего потомства». На втором кресле было написано: «1869 года Марта 16-го дня Его Императорское Высочество Государь Великий Князь Николай Николаевич старший...» На третьем: «1871 года Января 26-го дня Его Императорское Высочество Государь наследник Цесаревич...»

Обстановка на даче Малютина была роскошной. Собственно старины там, конечно, не водилось, ибо дом Малютин меблировал заново в восьмидесятые годы и во вкусе того времени, но здесь были очень дорогие вещи лучших мебельных мастеров Москвы и Петербурга. Стены украшали картины охотничьего или коннозаводского содержания и портреты знаменитых малютинских рысаков. Среди этих картин находилась одна замечательная вещь. Я говорю о портрете Летучего кисти Валентина Серова. В этом портрете, помимо всех свойственных одному Серову качеств, верно и тонко был подмечен, если можно так выразиться, дух лошади. Своей мощью, развитием суставов, породностью и необычайной энергией Летучий производил большое впечатление на выводке. Он буквально ни единой минуты не стоял спокойно. У него была привычка косить глазом на зрителя, причем глаз тогда наливался кровью. Серову удалось передать тип и формы Летучего. Глядя на серовский портрет Летучего, вы ясно видели, что эта лошадь из рода Добродеев, со всеми отличительными чертами этой великой линии, одной из лучших во всем прославленном роду Полкана 3-го. Тип самого Летучего был передан удивительно верно, так исполнить портрет мог только художник-психолог, каковым и был Серов.

Этот портрет висел у Малютина в спальне, над изголовьем, и Малютин очень им дорожил. От Малютина я знаю историю написания этого портрета и, принимая во внимание, что Летучий – дед Крепыша и вообще одна из лучших лошадей российского коннозаводства, расскажу об этом портрете подробно. Серов еще совсем молодым человеком жил в доме Малютина на Тверском бульваре. В это же время, в 1886 году, Летучий закончил свою беговую карьеру и должен был уйти в завод. Серов жил очень скромно, и Малютин, зная об этом, предложил ему вместо годовой квартирной платы написать портрет Летучего. Молодой художник с радостью согласился. Русское искусство обогатилось замечательным художественным произведением, а иконография нашего коннозаводства – замечательным изображением этой знаменитой лошади. Малютин и не предполагал, давая этот заказ, что оба имени – и Серова, и Летучего – войдут в историю искусства и коннозаводства. Этот портрет

достался Павлу Чернову, долгое время служившему наездником у Малютина, и у него был куплен мной.

Помимо этого замечательного произведения, Малютину принадлежали две оригинальные статуэтки из воска очень тонкой работы известного скульптора Лансере. Из них одна, изображавшая нероновскую Закрасу,⁵⁷ ныне находится у меня. В моей собирательской деятельности я больше никогда не встречал работ Лансере из воска, то есть тех моделей, по которым делались многочисленные отливки из бронзы. Несомненный исторический интерес представлял и ящик с акварелями знаменитых малютинских лошадей. К сожалению, ящик с этими акварелями, вероятнее всего, погиб во время разгрома малютинского имения.

Малютин не имел детей, и его тесно окружали лица, которые не без основания считали себя его наследниками, ибо им он оставлял значительную часть своего громадного состояния, и таковая его воля, уже выраженная в духовном завещании, была им хорошо известна. Они составляли тот заколдованный круг, проникнуть в который было почти невозможно: в 1907 году кроме меня решительно никто из посторонних у него не бывал. Все эти лица, рьяно охраняя Малютина, боялись всякого нового человека, нового влияния, и, да простит им Бог, если не спаивали старика. Конечно, Малютин не был пьяницей, но во всяком случае они сквозь пальцы смотрели на его страсть к красному вину. Малютину совсем не следовало пить, а он выпивал в день не менее двух бутылок красного вина, и оно, как яд, отравляло его и приближало момент развязки. Столь же вредны были и те дорогие гаванские сигары, которые Малютин не выпускал изо рта, и тот стол, полный лучших яств, которые тяжело действовали на организм и разрушали его, тем более что за столом, в накуренной и натопленной комнате, сидели по несколько часов кряду, ведя бесконечные беседы об охоте и лошадях.

Когда я вспоминаю дом Малютина, первое лицо, которое вырастает в моей памяти, – высокий, худощавый и благообразный лакей с длинными седыми бакенбардами, который всегда открывал дверь на мой звонок. Увидев меня, он многозначительно улыбался, кланялся и молчаливо сторонился, давая пройти. Однажды на крыльце я случайно встретился с одним известным охотником, который хотел видеть Малютина по делу: речь шла о продаже какой-то лошади. Он уже позвонил, когда я подошел, и почти сейчас же старик лакей отворил дверь. Пропустив меня, он загородил дверь охотнику и, несмотря на все просьбы и угрозы, не пустил его. Я был невольным свидетелем этой довольно-таки неприятной сцены и понял, почему дверь открывал один и тот же человек – он также был в числе наследников.

Видную роль в доме играла экономка – имя и отчество, к стыду своему, я позабыл. Уроженка Риги, она была немкой. Вела она дом удивительно: везде была образцовая чистота, стол всегда превосходно сервирован, и все было подано во время и хорошо. Малютинская экономка была милейшая женщина: она давно жила в России, но по-русски говорила прелезавабно. Во время завтрака и обеда она неизменно сидела в конце стола, но больше наблюдала за порядком, чем ела. Особый стол самых разнообразных закусок составлял ее гордость, и надо отдать ей должное – таких вкусных закусок я больше нигде не едал. Особенно хорош бывал горячий картофель, подаваемый к закускам, он был приготовлен по особому способу и особого сорта. Выписывался этот картофель из Риги. Здесь, в этих хоромах, среди тончайших закусок и деликатесов, он кушался с особым аппетитом и никогда не надоедал. Заговорив о столе, не могу не упомянуть, что малютинский повар славился на всю Москву. Однако кухня его, типично московская, была тяжела и изобиловала пряностями. Нередко после обеда у Малютина мне приходилось чуть ли не сутки ничего в рот не брать съестного.

Самое приятное впечатление производил и Яков Никонович Сергеев, управляющий малютинским конным заводом и дачей в Москве, высокий, тучный человек с русой курчавой бородкой, типичный русак по складу ума, образу жизни и убеждениям. До поступления к

⁵⁷ Закраса принадлежала коннозаводчику П. В. Неронову.

Малютину он был народным учителем и интересовался русской словесностью. Яков Никонovich называл лошадей, или крестил их, и это он так обогатил коннозаводский словарь. Лель, Горыныч, Ларчик – всем известны эти красивые, чисто русские и поэтические имена малютинских лошадей. Служил он у Малютина лет двадцать, если не более. Был душой и телом предан своему хозяину, и, как мне кажется, из всех наследников единственно он любил Малютина вполне бескорыстно. Малютинским лошадям он поклонялся слепо и считал, что лучших лошадей и быть не могло. Впрочем, он нисколько не ошибался. Случалось, что Малютин, под влиянием раздражения или проигрыша, решал продать ту или иную лошадь, но тут всегда появлялся на сцену Никоныч и уговаривал своего хозяина не делать этого. Вот почему было так трудно что-нибудь купить у Малютина. Немногие коннозаводчики могли похвастать тем, что имели в своих заводах малютинских лошадей. Яков Никонovich не был знатоком в строгом смысле этого слова, но, конечно, понимал лошадь и любил ее. Главная его заслуга – в преданности заводу, который он берег и лелеял. Благодаря этому малютинские рысаки были всегда превосходно воспитаны, что является, как всем известно, коренным условием успеха в нашем деле.

Почти два десятилетия «персоной грата» в малютинском доме был наездник Павел Чернов, имевший столько славных побед на лошадях малютинского завода. Малютин любил Чернова и верил ему слепо. Это не помешало Чернову под конец возмутительно поступить с Малютиним, за что, впрочем, судьба жестоко наказала его. Чернов, человек невысокого роста, с крупными и выразительными чертами лица и усами моряка, вел свой род от знаменитого наездника графа Орлова-Чесменского Семена, прозванного Черным. И отец, и дед, и прадед Чернова были знаменитыми наездниками. Павел Алексеевич пошел по их стопам и одно время был лучшим русским наездником. Это совпало с эпохой расцвета малютинского завода. Чернов ездил тогда с таким исключительным мастерством и успехом, имел такие исторические езды, что Коноплин прозвал его Божеством – прозвище, которое сохранилось за ним навсегда.

Естественно, эти успехи сблизили Чернова с его хозяином и сделали своим человеком в доме Малютина. Чернов вел очень неумеренный образ жизни, кутил и мотал деньги налево и направо. За все платил, конечно, Малютин. Работал Чернов рысаков очень мало и ездил только на резвую, и то не всегда, да на приз. Ночи проводил в кутежах и, как большинство талантливых русских людей того времени, должен был либо спиться, либо начать дурить. Чернов пил много, но не спился, поэтому стал чудачить. Вообразив себя меценатом и знатоком искусства, он стал собирать картины и вскоре обзавелся «галереей». Немало недобросовестных людей нажило на этом деньги. Когда Чернов «отошел» от Малютина и впал в бедность, то решил продать галерею и был жестоко наказан за свое невежество и самодурство: за исключением нескольких картин, все полотна оказались подделками и пошли за гроши.

Вслед за «галереей» Чернов увлекся псовой охотой, завел борзых и гончих, держал их в малютинском имении, где для этого построили специальный псарный двор, в котором число охотников и охотничьих лошадей доходило до пятнадцати. Всё, конечно, на средства Малютина. Еще глупее была затея с чистокровными скаковыми лошадьми, которых Чернов завел было, но быстро в них разочаровался. Чернов самодурствовал немало, и все ему сходило с рук. Сорвался он вот на чем. В то время Малютин уже лет десять-двенадцать жил с Гильбих, и вдруг она якобы влюбилась в Чернова, которого знала те же десять лет и почти каждый день виделась с ним за одним столом. Она бросила старика и вышла за Чернова замуж. О любви или увлечении здесь, конечно, не могло быть и речи, и вообще вся эта история носит оттенок чего-то загадочного и крайне непорядочного. Малютин был возмущен, и больше Чернов никогда не переступал малютинского порога.

Все были возмущены поступком Чернова, даже русское общественное мнение, столь терпимое ко многому, было против него. Чернов оставил езду, и уехал с женой в подаренное

ему когда-то Малютиним имение в Тверской губернии. Там они три года вели, подражая Малютину, широкий образ жизни, но затем разорились, переехали в Москву, поселились на даче Гильбих на Верхней Масловке (тоже, конечно, подарок Малютина). Чернов пытался ездить, но счастье его покинуло: ездил он с таким скромным успехом, что было даже жаль наездника, когда-то гремевшего на всю Россию и восхищавшего всех своим мастерством. К Чернову не вернулась слава, он окончил свои дни скромно, живя у сестры на пенсию, которую ему назначило Московское беговое общество. А Гильбих бросила его и после его смерти вышла замуж за красивого молодого человека без определенных занятий.

Каким же знатоком был Малютин! Он не был генеалогом, но умел разбираться в породе лошади и требовал если не абсолютной чистоты крови, то во всяком случае не допускал никаких посторонних примесей для лошадей, участвующих в заводском деле. Но, как ни странно, мне не раз приходилось слышать, что Малютин ничего не понимал в лошадях и что всё, мол, сделали деньги, Чернов да Яков Никонович Сергеев. Это мнение укоренилось потому, что Малютин был не только скромный, но и чрезвычайно застенчивый человек. Он не кричал о своих познаниях, не спорил и не вступал в дебаты, вообще держался замкнуто и в стороне. Русский человек, к несчастью, любит говорить о своем ближнем и конкуренте скорее дурное, чем хорошее, вот почему зависть пыталась отнять у Малютина его знания. Попытка с негодными средствами, и над ней, конечно, смеялись люди серьезные, порядочные, знавшие Малютина. Черновы и Сергеевы были хороши и знамениты у Малютина, но вот Чернов отошел от него, занялся заводским делом – и разорился, ничего путного не отвел. То же после смерти Малютина произошло и с Яковом Никоновичем.

Никогда не забуду одной беседы с Николаем Павловичем, в продолжение которой он меня поучал. Вообще не в его характере это было. Здесь же он сделал исключение. Тепло и сердечно относясь ко мне, он решил дать мне урок, так как знал, что я его не просто запомню, но и сделаю выводы для своей будущей коннозаводской карьеры. Я выразил сожаление, что в заводе Малютина всегда так мало маток, а значит, другим коннозаводчикам трудно почерпнуть для своих заводов их материнской крови. Малютин улыбнулся и ответил: «Если бы у меня было больше маток, то я никогда бы не отвел таких лошадей, какими вы так восхищаетесь». Поясняя мысль, он стал рассказывать долго и пространно, как важно иметь в заводе не количество, а качество. Он говорил о значении матки, о том, что ее происхождение обязательно должно быть выдающимся, что она должна быть «самых лучших форм» и иметь хорошую беговую карьеру. Но и этого мало, ибо когда найдешь такую кобылу, то нельзя быть уверенным в том, что она даст в заводе хороших лошадей или же не перестанет жеребиться. Как пример он привел свою любимицу Зиму 2-ю, которая перестала жеребиться после первого жеребенка.

О производителе Малютин прочел мне целую лекцию. Вывод был таков: жеребец в заводе – это краеугольный камень для создания типа. Как это верно, как хорошо я это усвоил, когда стал в широком масштабе вести заводскую работу. «Вот Ловчий, – сказал Николай Павлович, – это была настоящая заводская лошадь, я никогда не продал бы его». Тут я с удивлением посмотрел на Малютина, ведь именно он за десять тысяч рублей продал Ловчего в Хреновской завод. Малютин понял мой вопрошающий взгляд: «Я его не продал, а уступил Хреновскому заводу. Цена ему не десять тысяч, а десять раз по десять тысяч. Никому другому и ни при каких обстоятельствах я не продал бы эту лошадь! А управляющий Дерфельден теперь будет с лошадьми». Вновь переживая впечатления от этого разговора, я вполне могу оценить, каким же знатоком был Малютин. Ловчий возродил Хреновской завод, дал такого исключительного сына, как Лужок, оставил незабываемую группу заводских маток и подарил таких ипподромных бойцов, как Безнадежная Ласка, Ловчая, Ловкий и другие.⁵⁸ Не

⁵⁸ Когда составлялся этот список, от Ловчего и Удачной ещё только родился Улов (1928–1946), самый замечательный

только о заводских жеребцах и матках говорил мне Малютин. Немало интересного и тогда еще не известного сообщил он о содержании и воспитании лошади. Эта часть его поучения сводилась к трем словам: «Кормите, кормите и кормите, а затем работайте».⁵⁹ Никто лучше Малютина не знал о том, как мы, русские коннозаводчики, недокармливали лошадей, испытывая столько бед и разочарований. Многому я научился у Малютина и всегда с чувством признательности и восхищения вспоминаю замечательного русского человека, великого коннозаводчика, моего наставника на коннозаводском поприще.

Малютин и Коншин были представителями богатого московского купечества. Но Малютин по образу жизни, воспитанию и убеждениям был чистейшей воды барин. Он оставил торговлю, жил в имении и занимался исключительно коннозаводской деятельностью. Коншин же, наоборот, был директором своей фабрики, вел крупные торговые дела и постоянно жил в Москве. Это был тип купца воспитанного, с уважением относящегося к государственной власти и господствующему сословию. В лице Коншина и ему подобных мы имели дело с купечеством еще прежнего закала, которое, наживая громадные состояния, двигало промышленность и торговлю и, обогащая себя, обогащало государство. Революция 1905-го и последующее время сбили с панталыку многих таких купцов, а вернее, их сынков. Возмнив себя великими государственными людьми, они жертвовали на освободительное движение, основывали газеты и журналы тенденциозного направления, стремились в Думу, но не для работы, а с мечтой о перевороте и министерских портфелях. Результат их стремлений и чаяний всем известен: вторая революция, купеческое министерство, паскудная трусость, глупость и близорукость этих «великих» государственных мужей с Ильинки, Петровки и Маросейки. Увы, поздно открылись у интеллигенции глаза на сущность всех этих Гучковых, Рябушинских, Третьяковых и *tutti quanti*. В результате – развитие революции до победного конца и потеря этими великими умниками всех своих капиталов, фабрик и заводов.

потомок Ловчего, признанный в 1930-х годах Чемпионом орловской породы, – убедительное доказательство коннозаводского чутья Бутовича.

⁵⁹ Работать или ездить лошадь значит тренировать. В работу, езду, или тренинг, входит ежедневная езда тихой рысью (тротом), два раза в неделю – резвые, или маховые, наконец, прикидка почти в предельную резвость за два-три дня перед призовой ездой, на другой день после приза – езда шагом. Система тренинга – продолжительность, чередование и напряженность всех работ – это ключ к успеху. Каждый наездник комбинирует работы по-своему

Союз Орловцев

Наблюдая коннозаводскую жизнь в Москве, вращаясь в коннозаводских кругах и ведя обширную переписку с провинцией, я не мог не обратить внимания, что орловцы не объединены. Даже в Москве у них не было центра. И мне пришла счастливая мысль создать Всероссийский Союз коннозаводчиков орловского рысака, который бы объединил нас всех и, главное, дал бы возможность выступать перед правительственными учреждениями.

Я имел в виду привлечь в Союз великих князей и использовать их влияние для защиты и укрепления позиций орловских коннозаводчиков. Великий князь Дмитрий Константинович был ярким сторонником орловского рысака, другой великий князь, Петр Николаевич, имел орловский завод, и, наконец, великий князь Николай Николаевич всегда интересовался спортом и лошадьми, хотя был больше любителем собак, чем лошадей. Я поддерживал хорошие отношения с Дмитрием Константиновичем и был хорош с дворами двух других великих князей, но – неожиданно наткнулся на решительный отказ. Дмитрий Константинович объяснил мне, что и ему, и Петру Николаевичу, и Николаю Николаевичу неудобно вмешиваться в борьбу, не будучи официально уполномоченными и не служа по коннозаводскому ведомству. События 1905 года еще были свежи в памяти, и великие князья избегали, насколько могли, вмешиваться в общественную и административную жизнь, ибо таково было категорическое желание государя императора.

Разговор с великим князем еще больше укрепил меня во мнении о необходимости Союза. Хорошо продумав этот вопрос, я решил, что настало время действовать. Был составлен проект устава – его утвердил Московский градоначальник – собрали группу учредителей и без шума зарегистрировали Союз. Большая передовая статья и устав были напечатаны в «Рысаке и скакуне». Метизаторы пришли в бешенство. Дело дошло до того, что меня хотели вызвать на дуэль и убить, но все ограничилось одной болтовней и угрозами.

На первом же собрании почетным председателем Союза был избран великий князь Петр Николаевич, а Дмитрий Константинович и Николай Николаевич – почетными членами. Великие князья охотно приняли избрание и оказывали нам поддержку официально, вплоть до давления на государя императора. Председателем Союза мы избрали почтенного Н. И. Родзевича, виднейшего коннозаводчика, рязанского городского голову, превосходного оратора.⁶⁰ Горячо встретили Союз коннозаводчики-орловцы, а метизаторы и враждебное нам Главное управление коннозаводства в значительной степени смягчили тон, вынужденные считаться с новой силой. Союзу суждено было сыграть совершенно исключительную роль в деле спасения орловской породы.

В «мирное» время Союз дремал, ничего не делал и лениво собирался раза два в год, но, когда метизаторы подымались и под талантливим водительством хитрого Шубинского, опираясь то на всемогущего Столыпина, то на Государственную Думу, то на Государственное коннозаводство, открывали против нас поход, Союз немедленно приходил в движение, собирался, печатал статьи и воззвания, посылал петиции и депутатии, шумел, взывал ко двору, земским и дворянским собраниям – и так трижды побеждал!

⁶⁰ Сын Н. И. Родзевича, Эспер Николаевич, – выдающийся наездник советского времени, в его руках выступал соперник Улова, тоже рекордист, Пилот. Схватка Улова с Пилотом в борьбе на финише запечатлена на большом полотне «Бега» художником Г. К. Савицким.

Продолжение моей коннозаводской деятельности

1907 год, для меня полный жизни, подходил к концу. Считая свою миссию выполненной, я продал журнал полтавскому коннозаводчику Н. А. Афанасьеву, поставив два условия, закрепленные нотариально. Первое: «Рысак и скакун» десять лет не меняет направление по отношению к орловскому рысаку; если этот пункт нарушается, то издание бесплатно возвращается ко мне. Второе: уплата через 6 месяцев, считая с 1 января 1908 года, десяти тысяч рублей за обстановку, издание и журнал. Первое условие Афанасьев выполнил свято; что же касается второго, то я не получил от него ни копейки, но был далек от мысли требовать эти деньги. Однако Афанасьев всегда вынужден был считаться с этой возможностью, а потому журнал велся в желательном для меня направлении, проводил мои взгляды, поддерживал мой завод. Кроме того, все мои статьи и заметки печатались без изменений и поправок.

Укрепив орловский фронт, обеспечив тыл, то есть создав возможность вести орловский завод без боязни, что придется из-за невозможности бороться с метисами вылететь в трубу, я всецело и в крупном масштабе перешел к практической и творческой коннозаводской работе. Вновь начал посещать заводы, скупал не только отдельных лошадей, но и целые заводы; с головой окунулся в эту работу, не забывая, впрочем, и общественно-коннозаводских дел. Некоторые из завязанных тогда личных отношений сохранились и до сего времени.

Заграница – Конский Хутор – Прилепы

Европейское турне и возвращение

Я уже имел весьма серьезную теоретическую подготовку, литературное имя, спортивные связи и оставалось все это увенчать коннозаводской работой. Таковы были планы, и с ними я вступил в новый год. Что он готовил, что предвещал мне? Я ясно видел, какие трудности лежат передо мною, как трудно будет собирать выдающийся материал, но бодро смотрел в будущее и не боялся предстоящей работы. Я уехал в Петербург, где по зимам жили мой старший брат с женой. Погостив у них месяц, отправился на юг Франции, на Ривьеру, чтобы навестить мою матушку, которая имела виллу в Ницце и там жила с моей слабогрудой сестрой Е. И. фон Баумгартен. Ницца, Монте-Карло, потом Париж, Вена, наконец, Варшава – все это промелькнуло, как сон, как какой-то счастливый миг.

В последних числах марта я вернулся в Россию. Здесь была ранняя весна, а там, откуда я приехал, уже цвели розы и жасмины, по-летнему грело южное солнце, на все лады пели птицы и голубое море ласкало взор и убаюкивало слух своим мягким и вечным прибоем – там, далеко, было лето. После угара счастливой жизни, полной отдыха, рулетки, балов, маскарадов и увлечений, после всего этого шума и европейского блеска было как-то странно и первое время тоскливо в деревенской глуши. Однако человек привыкает ко всему, и я мало-помалу стал втягиваться в скучную и однообразную жизнь. Лишь по вечерам, сидя с сигарой и французским романом у камина, я подолгу мечтал, иногда грустил. Я мало тогда бывал на конюшне, совсем не ходил по хозяйству: все это меня раздражало, утомляло и казалось каким-то мелким, скучным и ненужным. Письма подолгу лежали на столе, не хотелось на них отвечать; в душе назревал перелом, как будто намечалось что-то новое, чего я сам боялся и чего не хотел. Однако как-то, проснувшись ранним утром, я подошел к окну и долго стоял, как зачарованный: весна бурно вступила в свои права, все кругом зацвело, чирикало и пело, переливалось изумрудной краской пробивающейся травы и зеленью молодых почек, а над всем, как шатер, расстилалось, сколько видел глаз, весеннее голубое небо, такое нежное, чистое и прозрачное. На душе сразу стало хорошо и легко. Все в природе возобновлялось, все оживало и возвращалось к жизни после долгой зимней спячки – как же было не поддаться очарованию и не воскреснуть душой! Красивое и счастливое время весна – как не ввериться тебе, как тебя не любить!

С приходом весны пришли и новые силы. Я почувствовал себя бодро, целые дни проводил в конюшне или в саду, а в свободные часы уже не книжка французского романа была у меня в руках, а какой-нибудь коннозаводский журнал, специальная книга, а еще чаще – описи рысистых заводов. Словом, как после болезни, я возвращался к своим любимым занятиям и делам. Европа, галереи, веселье, яркие и тонкие увлечения, дававшие полное удовлетворение страстям, – все было позади, забылось, и жизнь входила в свою будничную колею. Много времени я проводил над генеалогическими работами, составил список тех заводов, которые той же осенью хотел посетить и, наконец, присматривался к своему небольшому заводу, где среди двухлеток уже обращал на себя внимание белый жеребец Кот, впоследствии гроза всех ипподромов юга России. В то время мой завод находился в специально купленном для него имении, которое я назвал Конским Хутором.

Постройки на Конском Хуторе были очень хороши, уголья незначительные, а потому табун был всегда худ, от этого матки плохо кормили жеребят, и те нередко заморышами входили в зиму. Нет хороших выпасов – нет хороших жеребят! А нет хороших жеребят – нет

хороших лошадей! Вспоминая тот период жизни, я удивляюсь, как при подобном кормлении, уходе и содержании могли родиться такие лошади, как Кот и Кронпринц.

Было, впрочем, одно обстоятельство, и притом немаловажное, из-за которого тогда страдало ведение моего завода, – это отсутствие денег, вернее, оборотных средств и необходимость весь бюджет укладывать в сравнительно скромный доход, который я тогда получал. Мой отец был одним из богатейших помещиков Юга, и после его смерти мы наследовали громадное состояние и стали очень богатыми людьми. Как же случилось, что я, достигнув совершеннолетия, не мог распоряжаться своими средствами, а имел весьма скромный ежегодный доход в 10 000 рублей?

Отец всегда был против моей страсти к лошадям, говоря, что я разорюсь на них и пойду по миру. И он завещал, чтобы мне до 35 лет выплачивалось ежегодно 10 000 рублей, и только по достижении этого возраста я должен был получить свое состояние. Моим опекуном стал старший брат Николай, который хотя и делал мне некоторые послабления, но в общем строго придерживался воли отца. Брат Николай не был лошадиником и вполне разделял убеждение отца, что я обязательно разорюсь на лошадях, а потому и выполнял его волю особенно охотно. Несмотря на все эти предположения, я не только не разорился, но, занимаясь коннозаводством, нажил большое состояние и стал очень богатым человеком. Этим я всецело был обязан своей работе, лошади меня в буквальном смысле слова обогатили. Однако богатство пришло значительно позднее, а пока что на Конском Хуторе я нередко сидел без денег и нуждался. Денег постоянно не хватало, и я пустился в разного рода финансовые операции. Нужно прямо сказать, что от природы я был наделен большой изворотливостью и хорошими финансовыми способностями – иначе я бы погиб! Директор Соединенного Банка в Елисаветграде г-н Варшава как-то однажды в восхищении сказал мне: «Яков Иванович, у вас настоящие еврейские мозги! Бросьте играть в лошадки, займитесь настоящим делом. Из вас выйдет замечательный финансист!» Это была, конечно, высшая похвала в устах г-на Варшавера. Мое обогащение на лошадях – это едва ли не единичный случай в практике коннозаводства. Вспоминая теперь, как подчас мне приходилось комбинировать и изворачиваться, я диву даюсь, как высканивал из того или иного положения, как рисковал, как все сходило с рук и благополучно заканчивалось. Жизнь шла мирно и однообразно: даже в ближайшем городе я почти не бывал и до середины лета жил совершенным анахоретом, всецело уйдя в свои коннозаводские планы.

Но было это словно передышкой: очередной кризис, налетевший как ураган и охвативший меня, оказался впереди. Я чуть было не продал имение и не покинул Россию навсегда, не уехал туда, где еще так недавно пережил одно из самых сильных и счастливых увлечений, где я любил и был страстно любим. Все забывается, даже самые пылкие, мучительные страсти – и те проходят, но как тяжело, как трудно они проходят. Именно в эту пору, когда я каждую минуту мог все бросить, Карузо, и только он один, с его кристально чистой душой, верой и фанатизмом, мог повлиять на меня – и повлиял. Сергея Григорьевича я любил искренне, сердечно и совершенно бескорыстно. Это был фанатик орловской породы, романтик, человек чистой души. Карузо понял состояние моей души и, прожив около двух месяцев на Конском Хуторе, с удивительной чуткостью подошел ко мне, увлек рассказами о прежних рысаках (как хорошо он рассказывал!), имена Полканов, Лебедей, Любезных и Соболей запестрели и заиграли в нашем разговоре. Он предсказывал мне громадное будущее как коннозаводчику, как деятелю и борцу за орловского рысака; он увлекал, гипнотизировал меня, не давал надолго задумываться и, как нянька, не отходил от меня буквально ни на шаг. Слова лести и предсказания будущей славы подействовали на меня. Да и на кого, читатель, они не действуют еще и теперь? Время также брало свое: мне стало легче, проснулась уверенность в том, что мне предназначено сделать что-то здесь, на родине, и я постепенно всей душой, и на этот раз уже навсегда, окунулся в коннозаводское дело.

А тем временем мои чуткие петербургские друзья – не лошадики, а друзья на жизненном пути – граф Зубов, Борис Огарев, обеспокоенные моим молчанием, начали звать меня в столицу. Почти одновременно великий князь Дмитрий Константинович приглашал к себе в Дубровку – отказаться было просто неприлично и неудобно. Я увидел здесь руку Карузо, понял, как он боится за меня, и еще больше стал его уважать и ценить. Впрочем, хорошо ли поступил тогда Карузо и не лучше ли было бы, чтобы я навсегда уехал за границу? Там меня ждала спокойная жизнь среди высокой культуры, в благоустроенной стране, и я, конечно, нашел бы применение своим способностям и был бы счастлив. Оставшись здесь, я много пережил и еще больше испытал; на своих плечах вынес все тяготы, ужасы и унижения революции. Теперь, когда пишу эти строки, вижу вокруг себя полный развал, гибель родины и один сплошной ужас. Да, видно, мне суждено испить эту чашу до дна: каждому по делам его!

Я уехал в Дубровку. Оттуда я предпринял путешествие по заводам Тамбовской и Воронежской губерний, проездил три месяца и лишь в ноябре вернулся домой. Я вынес очень много из этой поездки и понял, что тот материал, с которым я работал, не отвечал своему назначению: за исключением пяти-десяти лошадей, все остальное необходимо было выбраковать и заменить. Внимательно присмотревшись к тому, как кормили и работали лошадей на других заводах, я понял, что у меня все это делается не так и прежде всего необходимо озаботиться приисканием дельного и знающего управляющего. С этой целью я проехал в Киев и вызвал для переговоров Николая Николаевича Ситникова. Уже около десяти лет он управлял конным заводом А. Н. Терещенко и достиг блестящих результатов. Это был энергичный и подвижный человек, не только знаток конного дела, но и неутомимый работник и превосходный сельский хозяин. Заполучить Ситникова было моей мечтой, и ей суждено было осуществиться. Однако сначала Ситников мне прямо сказал, что бросить Терещенко он не может и никогда этого не сделает, так как многим ему обязан, но что если Александр Николаевич его отпустит, то он с наслаждением перейдет ко мне, так как лошадей любит «больше всего на свете», а завод Терещенко, собственно говоря, уже более не существует.⁶¹ Лучшие матки: Услава, Ненаглядная, Ундина – у меня, многих кобыл раскупили киевские охотники, а то, что осталось, неинтересно. Ситников просил меня лично переговорить с Александром Николаевичем. Я усомнился в успехе, зная, как Терещенко ценит Ситникова, однако другого выхода не было, и я согласился.

Терещенко принял меня не только любезно, но и сердечно. Он велел сейчас же позвать Ситникова и при мне прямо его спросил, желает ли он оставить службу и перейти ко мне. Ситников смутился, покраснел и заявил, что он Терещенку никогда не оставит и без согласия или против его желания не уйдет. Тогда Александр Николаевич подумал и сказал: «Я знаю, ты любишь лошадей, к Якову Ивановичу тебя отпускаю. Если не поладишь, в любое время можешь вернуться. Вели в конторе выписать себе в награду годовой оклад жалования». Ситников благодарил хозяина, а я просил освободить управляющего как можно ранее. Так состоялся переход ко мне на службу Ситникова; который служил мне верой и правдой, защищал мои интересы, как свои, был предан делу всецело, работал неутомимо.

Столь важный вопрос, как приглашение управляющего, был разрешен блестяще, и я не мог, конечно, не быть благодарным Александру Николаевичу Терещенко и на несколько дней остался погостить у него. В это время там собралось большое общество; из Киева приехал генерал Сухомлинов, впоследствии военный министр и похититель жены моего двоюродного брата В. Н. Бутовича.⁶² Надо отдать должное Сухомлинову, в обществе это был очаровательный человек и большой «шармер» (чаровник). Неудивительно потому, что впо-

⁶¹ Терещенко решил ликвидировать завод из боязни, что его единственный сын увлечется лошадьми.

⁶² Это ещё один, после дела о Рассвете, скандал, связанный с фамилией Бутовичей. Даже когда Бутович оказался в тюрьме, сокамерники первым делом спросили, не у него ли «бывший министр Сухомлинов увёз жену», путая Я. И. Бутовича с двоюродным братом.

следствии государь император Николай Александрович подпал под его влияние. Впрочем, оставим эти мысли и скорее уйдем в воспоминания подальше от политики, подальше от тех лиц и поступков, которые фатально привели к русской революции.

Покупка Прилеп

В Москву я приехал в конце января. Сейчас же, конечно, поехал на бега. Там было по обыкновению шумно и весело, жизнь била ключом. Меня встретили как старого знакомого, с распростертыми объятиями, и начались разговоры, расспросы, предложения купить лошадей и все прочее в таком же роде. Я с головой ушел в эту жизнь и на время забыл обо всем остальном. В Москве я начал расспрашивать охотников и вообще лиц, причастных к беговому делу, нельзя ли недалеко от Москвы купить имение десятин в пятьсот-шестьсот, такое, где ранее был конный завод. С моей точки зрения, последнее служило гарантией того, что уголья в нем удобны для ведения конского дела.

Это было время известного расцвета помещичьих хозяйств: после революции 1905 года цены на земли поднялись, хозяйства стали приносить доходы, да и вообще все в России двинулось гигантскими шагами по пути обогащения, развития техники и культуры. В то время хорошее имение купить было почти невозможно, и до конца февраля я, живя в Москве, тщетно его искал и ничего не находил. Наконец, мне сообщили, что я могу купить имение Прилепы⁶³ в 17 верстах от Тулы и в 10 верстах от станции Козловой Засеки, столь хорошо известной всем русским людям по близости к ней Ясной Поляны. Прилепы в давние времена принадлежали князьям Гагариным. Во время крепостного права Прилепами владели Скаржинские, а в начале шестидесятых годов имение было куплено тульским коннозаводчиком А. Н. Добрыниным, затем имение перешло к его вдове, а она прожила и промотала все состояние мужа. Добрынины уже не жили в Туле: их дело и дома были проданы, оставалось лишь небольшое имение, обремененное закладными и назначенное в продажу.

Род Добрыниных – старый купеческий род – в свое время был одним из наиболее уважаемых в Туле: и старик Добрынин, и после него сын до самой смерти были Городскими Головами. Жили Добрынины на Коммерческой улице, в знаменитом особняке с усадьбой, славившейся по всей Туле. Дом большой, с колоннами, внутри пышно отделанный, с лепкой и всей роскошью того времени. В их доме останавливался со своей свитой государь Александр II, об этом событии долго потом говорила вся губерния. Добрынина-отца уважали и за богатство, и как человека, и побаивались его. Сына любили больше, но тем уважением он уже не пользовался. Старик жил по старинке, а сын тягался с дворянами, кутил, устраивал приемы, жил очень открыто и проживал большие деньги. После разорения все пошло прахом, не осталось и следа великого богатства:

Всею виной была широкая жизнь Алексея Николаевича да его жена Олимпиада Платоновна – генеральская дочка, писаная красавица. Ну, настоящая черкешенка да и только! Он ее очень любил, а старик Добрынин всегда говаривал, что до добра она его не доведет. Алексей Николаевич любил выпить. Любила погулять и его жена. Он ей потворствовал, и мало-помалу она стала выпивать, при старике украдкой, а как он умер – посмелее, все больше и больше. Алексея Николаевича она любила и уважала и при нем еще удерживалась, а после его смерти совсем спилась, загуляла, связалась с наездником Мурфи,⁶⁴ который ей дорого обошелся, потом с каким-то Куртом Фёдоровичем, этот тоже охулки на руки не положил.⁶⁵ Дальше она уже совсем стала терять себя, в их доме уже мало кто из семейных теперь бывал. Она переехала в Прилепы, стала пить запоем, постарела, гуляла с конюхами и спаивала их. Окончательно разорилась, все в Прилепах до последнего стула было продано с молотка, а имение осталось по закладной за тульским миллионером Платоновым. Платонов, предло-

⁶³ Название означает село, «прилепившееся» к границе Московского княжества.

⁶⁴ Томас Мурфи – в Америке его называли «волшебником вожжей».

⁶⁵ Не дал маху – не упустил удачи.

жив мне купить Прилепы, сделал меня тульским коннозаводчиком. В начале марта мы с ним поехали в Тулу.

Мой первый тульский вечер прошел в гостях. Я был приглашен к Платоновым, куда по провинциальной привычке созвали местную знать и знакомых. Платоновы были первые богачи в городе, но люди малоинтеллигентные – еще их отец торговал за прилавком рыбой. Дом Платоновы меблировали сравнительно недавно. Все было ново, блестяло, все было дорого, но безвкусно, аляповато и чересчур уж по-мещански богато. Когда я пришел, было уже довольно много народу, и почти все охотники оказались в сборе. Сам Константин Игнатьевич Платонов был ниже среднего роста, уже с брюшком, блондин с выцветшими волосами и выражением глаз, как у судака, почему и носил прозвище Судак. Жена его с виду типичная купчиха: большого роста, пухлая, дебелая, с пышными волосами и большими синими глазами. Одевалась она ярко, сильно румянилась и так же сильно подводила брови и губы, носила громадные шляпы и такие же бриллианты, правда, не первоклассные, а желтоватой воды, вышедшие из рук второклассных ювелиров. Как ни странно, купчихой она не была, окончила в молодости тульскую гимназию и происходила из бедной дворянской семьи, по всей вероятности выслужившей дворянство весьма недавно. Как и большинство русских людей, Платоновы были крайне гостеприимны и радушны. Из гостей здесь оказались, конечно, полицеймейстер, кое-кто из родных и человек десять крупнейших местных охотников. Я поразился тому, насколько это были малоинтересные, малоразвитые и даже малокультурные люди. Разговор шел исключительно вокруг местных интересов, местных сплетен и новостей и совершенно не касался общих вопросов. О лошадях также говорили мало. Это была типичная провинциальная среда, и я понял, что мне здесь делать будет нечего. Впоследствии я убедился, что мои первые впечатления верны и у меня мало общего с этим кругом людей. Мне в жизни не приходилось видеть второго подобного города (хотя я русских городов перевидал на своем веку великое множество), где было бы столько сплетен, интриг, мелких ссор и плутовства. В этом отношении Тулой поставлен несомненный рекорд, недаром же народ сложил про туляков пословицу: «Хорош заяц, да беляк, славный малый, да туляк!».

На следующий день я поехал смотреть Прилепы. От Тулы до Прилеп – семнадцать с половиной верст. Дорога живописная, холмистая местность местами покрыта мелким лесом и кустарником. Сначала верст семь надо ехать по Воронежскому шоссе, затем проселками. Стоял яркий, солнечный денек, и я с удовольствием наблюдал, как ямщик ловко управлялся со своим длинным кнутом и, голосом понукая лошадей, давал им верное направление. Ехали тройкой гусем,⁶⁶ такая езда мне всегда доставляла удовольствие. В полтора часа ямщик довез меня до Прилеп, на хорошей зимней дороге ухабов еще не было, и я и не предполагал, что по летнему пути эта дорога – одна из самых ужасных дорог в России, осенью добираться до шоссе – сущее мучение. Худшей дороги, чем между Прилепами и Тулой, я думаю, не существовало нигде, и если бы я тогда знал об этом, то, конечно, никогда бы не купил Прилеп.

В Прилепах меня поразила прежде всего живописная местность и хорошее местоположение усадьбы. Прилепы расположены на горе, с одной стороны окружены яблоневыми садами, а с другой – насаждениями хвойных деревьев, еще дальше и правее, за оврагом, к усадьбе примыкает небольшая запущенная роща из берез, лип и кленов. Дорога к дому идет по спуску между садами. Перед домом – куртины деревьев. Ниже, сейчас же за садом, река Упа и заливные луга. За рекой находился старый добрынинский бег, где когда-то столько рысаков добрынинского завода делали свои первые шаги – словом, все было живописно и красиво. Особенно радовали глаз березы, покрытые инеем, чистота и прозрачность воздуха и, конечно, река. Лучшее время года в Прилепах, как и вообще в этой довольно северной

⁶⁶ Одна лошадь за другой.

полосе России, зима. Мне суждено было осматривать это имение именно зимой, а потому неудивительно, что я купил Прилепы.

Значительно хуже дело обстояло с постройками: барский дом, одноэтажный, маленький, рассчитанный не для постоянной жизни, а для приездов, был плох. Два новых деревянных флигеля оказались в хорошем виде и еще могли служить – один для приезжающих, а другой для управляющего. Затем большие конюшни, разграбленные внутри, и старый, покосившийся на один бок манеж. Никаких других построек в Прилепах не было. С инвентарем, дело обстояло еще хуже: все было продано, не сохранилось ничего. Каким-то чудом в одной из комнат дома уцелел лишь литографированный портрет Александра III в раме, но без стекла, да в чулане стоял стул без одной ножки, имевший в свое время определенное назначение, о котором догадаться нетрудно. Походив по усадьбе и поговорив с крестьянами, я решил, что имение купить надо, хотя и придется вколотить в Прилепы немало денег, прежде чем все это примет надлежащий вид. Однако делать нечего: купить готовое коннозаводское гнездо невозможно, тут оно, хоть и полуразрушенное, налицо, да еще живописная местность, близость Москвы. По возвращении в Тулу я сказал Платонову, что имение оставляю за собой.

Из Одессы приехал мой брат Владимир, чтобы взять на себя оформление покупки, и на другой же день вступил в официальные переговоры. Как ни странно, это заняло много времени, посыпались протесты кредиторов, которых оказалось очень много, и на имение наложили арест. Поверенный Платонова советовал нам махнуть рукой и, как он говорил, «плюнуть на это дело», ибо волокита затянется на год или два и примирить кредиторов не будет никакой возможности. Мне жаль было оставить Прилепы, и я просил брата решить вопрос. Брат немедленно ушел с головой в дело, и началось писание докладных записок, посещение старшего нотариуса, переговоры с частным поверенным, свидания с кредиторами и прочими таинственными личностями. Дело было запутанное и трудное, но на Юге брат имел репутацию крупного дельца и, как говорили, еврейские мозги, то есть был мастер придумать и провести самую хитроумную комбинацию. «Надо купить – и купим, – наконец сказал мне Владимир Иванович. – Только завтра выпишу на помощь из Одессы двух ловких ребят: они мне нужны». Я не стал возражать и, так как тяготился всей этой процедурой, просил брата принять от меня полную доверенность и самому закончить дело, а мне позволить уехать. Брат возмутился и сказал, что он делает дело и живет в Туле только ради меня, а если я уеду, он немедля все бросит и тоже уедет домой. Делать было нечего, пришлось остаться.

Дня через три после нашего разговора в гостинице появились два новых лица, на которых не без удивления смотрела прислуга. Это оказались евреи Литвак и Хаим Дувидович Чегельницкий, верные «адъютанты» брата в его наиболее серьезных делах комбинативного характера. Я уже писал на страницах этих мемуаров, что мой отец имел пристрастие к евреям, делал с ними большие дела и всегда был окружен почетной еврейской свитой человек в десять. Некоторые остряки на юге смеялись над этим и называли это «кагалом Ивана Ильича». Брат пошел по следам отца, также ценил евреев как деловых людей, но по масштабу вел дело менее крупное и окружен был не таким блестящим еврейским кольцом, как отец. Отсюда понятно, почему в одно прекрасное утро появились Чегельницкий и Литвак, которые первым делом осведомились у брата, все ли в порядке. Это означало: разрешат ли им жить в Туле – черта оседлости! Литвак был гигант, в плечах косая сажень, какой-то еврейский Голиаф, а Чегельницкий, худой, с тонкими чертами умного лица и длинной, до пояса, седой бородой, напоминал древнего патриарха.

На следующее утро у меня в номере было совещание. Накануне Литвак и Чегельницкий ознакомились с делом, и теперь предстояло вынести решение. Признаться, я не думал, что вся сцена разыграется так интересно, и довольно безучастно сидел у окна, наблюдая уличную жизнь. Брат сел на диван перед столом, а Литвак и Чегельницкий поместились в

креслах. Разговор сначала шел довольно тихо, Владимир Иванович излагал положение дела и объяснял, в чем заключалась опасность совершения купчей: можно было потерять деньги и не получить имения. Часто упоминалось имя старшего нотариуса при тульском окружном суде, как сейчас помню его фамилию – Соловьев, и говорилось, что это формалист, капризный и взбалмошный человек. Надо было действовать быстро, чуть ли не в три дня утвердить купчую, и брат сомневался, что это удастся сделать. «У меня идея», – вдруг сказал Литвак и, вскочив, начал горячо излагать свою «идею». Чегельницкий саркастически улыбался и спокойно гладил свою длинную седую бороду. «Идея» Литвака была отвергнута, но он не сдавался и отстаивал, весь красный, свою мысль. Следующая «идея» пришла в голову брату, но и она была отвергнута. Спор пошел горячее и становился все интереснее. Литвак вскакивал с кресла и, весь красный, метался по комнате, опять садился с такой силой, что под ним трещало кресло. Было видно, что мозг его создает тысячи комбинаций, которые он тут же излагал, часто сам опровергая: «Нет, я дурак, это глупо». Наконец, брат что-то сказал, и начался общий гвалт. Чегельницкий прямо заявил: «Владимир Иванович, вы – гений». Идея брата была принята, дополнена и уточнена Чегельницким так тонко и ловко, что брат пришел в восторг и начал в свою очередь величать его «гением». После чего все стали говорить, ходить и уславливаться насчет завтрашнего решительного дня. «Шша, шша, шша», – часто раздавалось в комнате, когда не в меру горячий Литвак, дрожа от делового задора, начинал с яростью чересчур громко говорить. «Кредиторам ни копейки!» – этот лозунг был брошен Чегельницким и подхвачен остальными. «Кредиторам ни копейки!» – повторяли на все лады увлеченные брат и Литвак и тут же, смеясь, рассказывали, как надо поступить с ними. Эта сцена и сейчас как живая стоит перед моими глазами, и когда я пишу эти строки, то от души смеюсь задору Литвака, гениальной комбинации брата и дьявольской хитрости Чегельницкого.

Кредиторы действительно не получили ни копейки: на следующее утро появился Курт Федорович (фамилии его не помню) с доверенностью от Добрыниной на продажу Прилеп, купчая была совершена в конторе нотариуса Румянцева и в три дня утверждена старшим нотариусом Соловьевым. Свои деньги полностью получили Платонов и молодой Добрынин (первая и вторая закладные) и кое-что (остатки) сама Добрынина. Плакали денежки кредиторов, с Добрыниной взыскать было нечего, ибо имущества у нее никакого не осталось, а я стал владельцем Прилеп.

После утверждения купчей брат и оба «адьютанта» собрались ехать домой на юг, но прежде чем их отпустить, я устроил им обед в большой зале гостиницы. О покупке Прилеп уже все, конечно, знали, и когда я с братом в сопровождении Литвака и Чегельницкого вошел в залу, то это произвело положительный фурор. Было обеденное время, и господа дворяне кушали. Мое появление в таком обществе (не забудьте время и условия жизни), вид Литвака, его костюм (один костюм чего стоил!), вид Чегельницкого и его патриархальное лицо старого раввина привели в негодование не одно спесивое дворянское лицо, а несколько дам сощурились и, презрительно улыбнувшись, вынули свои батистовые платочки из красивых сумочек, как бы говоря: какое неприличие, кого это Бутович привел? К стыду моему, должен здесь признаться, что мне частенько в жизни приходилось попирать некоторые установленные обычаи и предрассудки нашей среды, и если это сходило с рук, то лишь потому, что нельзя же было не считаться с тем, что я дворянин не от вчерашнего дня, а имею пятьсот лет дворянского достоинства. Как-никак мое имя вошло в историю не только Малороссии, но и России, да и в эту последнюю – в отдаленные времена Ярослава Мудрого,⁶⁷ поэтому кое-что мне можно было простить. И прощали.

⁶⁷ Связь рода Бутовичей со временами Ярослава Мудрого легендарна. Исторически известных предков Бутович перечислил с конца XVII века. Среди них он назвал гетманского посла Ивана Богдановича Бутовича, участника турецких пох-

Обязательные визиты

Итак, в июне 1909 года я окончательно поселился в Прилепах, где живу и сейчас, правда, теперь в другой обстановке и в качестве не хозяина, а лишь управляющего, но по теперешним временам и этому будешь рад. Поселившемуся в деревне новому дворянину надлежало, по традиции, незамедлительно сделать три визита в губернском городе, а именно к Архиепископу, губернскому Предводителю дворянства и Губернатору. Я поехал в Тулу и первым своим долгом почел сделать визит преосвященному Парфению, епископу Тульскому и Белевскому. Ко мне, как представителю одной из древнейших малороссийских фамилий, он отнесся тепло и с большим уважением. Парфений был уроженцем Малороссии, молодость провел в Лубенском монастыре, интересовался историей Малороссии. Он любил родину, но в его словах проскальзывал малороссийский шовинизм, который был всегда чужд мне. Мы проговорили минут пятнадцать, после чего он первый встал, провел меня в небольшую молельню, стал перед образами, помолился и затем, благословив меня, пожелал мне успеха в моей деятельности. Во время молитвы вид у него был необыкновенно торжественный и даже вдохновенный. Я был тронут до глубины души.

От преосвященного я отправился к губернскому предводителю. В Туле в то время предводительствовал Рафаил Дмитриевич Еропкин. Я делал ему официальный визит, а потому поехал прямо в Дворянское собрание. Здесь также все было чинно и торжественно, но, конечно, в другом роде. Еропкин принял меня немедленно. Он находился в малом зале заседаний, перед ним стояло два секретаря и шел очередной доклад. На Еропкине был форменный сюртук, на шее – Владимирский крест, он напоминал скорее петербургского сановника, нежели губернского предводителя дворянства. Восседал на высоком стуле, сиденье которого было обито алым бархатом и на спинке красовался герб Тульской губернии. По бокам стола, покрытого красной скатертью с золотыми кистями, стояли такие же стулья, но несколько меньшего размера, с гербами уездов на каждом из них – для уездных предводителей.

Отпустив секретарей, Еропкин встал и предложил мне сесть. Он был высокого роста, тонкий, красивый и породный. Говорили, что он не отличается большим умом, и это, пожалуй, верно, но такт, прирожденное чутье, благородство и знание света так удачно маскировали это, что он производил на многих большое впечатление.

Мы беседовали с ним всего лишь несколько минут; я видел, что он очень занят, и хотел встать, однако он не отпустил меня, пока не показал парадные комнаты тульского губернского Дворянского собрания. Танцевальный зал, приемные, гостиные, зал собраний, столовая, кабинет предводителя – все было убрано роскошно и устроено великолепно. Масса старинных вещей, первоклассной мебели, фарфора и люстр, много больших, в рост, царских портретов и портретов бывших губернских предводителей. Попадая в эту обстановку, человек, даже чуждый нашим традициям, не мог не почувствовать их красоты. Здесь ощущалась мощь сословия, его прежнее величие, и трудно было представить, что через какие-нибудь пятнадцать лет все это погибнет и канет в Лету.

Еропкин спросил меня, предполагаю ли я войти в состав тульского дворянства, я ответил, что сочту это за особую честь, если получу на то его предварительное согласие. Еропкин просил меня подать заявление, которое тут же и было написано в его кабинете. Ровно через неделю мое заявление было рассмотрено в заседании предводителей под председательством самого Еропкина, и я стал дворянином не только Херсонской и Полтавской губерний, как мой отец, но и дворянином Тульской.

Еропкин был ставленником молодой дворянской партии, т. е. сословие возглавил дворянин-бюрократ. Отошел в предание, по крайней мере для Тульской губернии, предводитель-хлебосол из тех, кто так ярко воспет Терпигоревым, Тургеневым и другими певцами

дворянских гнезд.⁶⁸ Старики-дворяне недолго любили Еропкина. Им все хотелось второго Свечина:⁶⁹ – балы, концерты, обеды для всей губернии и прочее. Однако времена изменились, и такой предводитель был уже невозможен.

Новое время выдвинуло новых людей – это хорошо поняла молодая дворянская партия и правильно поступила, проведя в губернские предводители Еропкина. Еропкин любил лошадей и имел небольшой завод в Тамбовской губернии. На этой почве мы с ним если не сошлись, то ближе познакомились. Обыкновенно губернский предводитель отдавал визит дворянину в тот же день, редко на другой, молодежи просто посылались с дежурным визитная карточка. Лишь к особо влиятельным и старым дворянам Еропкин ездил в имение; это исключение было сделано и для меня, так как Еропкину хотелось попутно посмотреть мой завод.

В то время приезд губернского предводителя считался для уезда целым событием. Хозяин дома, куда ехал дворянский предводитель, обязательно приглашал окружающих дворян; уездные власти: исправник, становой, урядники и стражники – приходили в движение и наводили по пути следования порядок. Значение губернского предводителя в таких губерниях, как Тульская, где дворянство пользовалось особым влиянием и имело большой вес при дворе и в высших бюрократических сферах Петербурга, было чрезвычайно велико. Предводитель значил больше, чем губернатор (которого я не застал и только оставил свою карточку). Губернатор, и нередко, не поладив с главою дворянства, немедля отзывался в другую губернию или даже уходил в отставку.

⁶⁸ Заметные фигуры предводителей среди персонажей Тургенева – это Николай Иванович Благалаев и Петр Петрович Пехтерьев в комических сценах «Затрап у предводителя».

⁶⁹ Федор Александрович Свечин был тульским губернским предводителем дворянства в 1879–1885 гг.

В своем имении

Освоившись в своем новом имении, я должен был взяться за работу, а также наладить все в доме. Это было не так-то легко, ведь вопрос с прислугой всегда в России стоял довольно остро: трудно было подыскать подходящих честных и знающих свое дело людей, а если таковые находились, то неохотно шли в деревню. Мой камердинер Густав Герштеттер к тому времени женился, отошел от меня и открыл в Липецке небольшое дело. Мне очень повезло с его заместителем, в лице Никиты Никаноровича я нашел верного и преданного человека; он прослужил у меня двадцать с лишним лет и здравствует поныне, служа в Прилепах в должности ночного сторожа при маточной конюшне.

Труднее обстоял вопрос с поваром: его не так-то легко было найти. Вся наша семья была очень избалована по части стола: у отца служили всегда первоклассные повара-французы, а потом знаменитый Мирон Павлович. В течение лета мне пришлось переменить несколько поваров, пока мой приятель Путилов⁷⁰ не прислал мне Ивана Андреевича, замечательного повара и превосходного по характеру человека, выученика рязанского губернского Предводителя Драшусова. Иван Андреевич прослужил у меня лет шесть и затем, скопив деньжонок, купил в Рязанской губернии небольшой участок земли с яблоневым садом.

После него поваром у меня был ставленник светлейшего князя Лопухина-Демидова. С князем я был в хороших отношениях и, бывая в Петербурге, часто у него обедал. Лопухин-Демидов имел изысканный стол и слыл одним из первых гастрономов Петербурга. Его обеды, всегда с ограниченным числом приглашенных, славились в столице и действительно являлись верхом совершенства. Ставленник его быстро приобрел репутацию не только в Тульской губернии, но и за ее пределами. Он прослужил у меня до самой Октябрьской революции и, когда уже оставаться было совершенно невозможно, уехал в Петербург. Всем был хорош этот повар, но очень дорог.

В то время, как я был занят в доме, управляющий Ситников проявлял самую кипучую деятельность по организации хозяйства. Одновременно с обустройством имения шло приобретение инвентаря: часть была привезена с Конского Хутора, остальное куплено в Елисаветграде у Эльворти. Паровую машину Ситников очень удачно приобрел по случаю за 1500 рублей у Барского. Так что инвентарем имение было обеспечено вполне, и надо прямо сказать, что таких усовершенствованных сельскохозяйственных орудий по соседству не было ни в одном имении.

Местные крестьяне, которые все еще, как и во времена Ярослава Мудрого, работали «сохой-андревной», дивились на все это и относились к нововведениям критически. Впрочем, не они одни: не одобряли этих новшеств и соседи-помещики, которые вели свои хозяйства по старинке. Живность покупалась по мере роста дела. Сначала были куплены в достаточном количестве только лошади. Позднее Ситников недорого купил в Курской губернии у графа Клейнмихеля десять фрейбургских коров и положил начало недурному стаду. Он также завел свиней и хряков, покупал их лично у Щепкина. Все это было приобретено в первые два-три года и стало приносить небольшой доход. Ситников очень любил сельское хозяйство, и поля у него были в блестящем порядке.

Урожай хлебов и трав получались очень хорошие, и в Прилепах впервые начали сеять пшеницу, как озимую, так и яровую. Словом, хозяйство велось так, что не давало убытка, а это было очень важно. Мало-помалу критическое отношение к нашим методам хозяйствования у окрестных жителей изменилось: у Ситникова и Митропольского стали учиться и

⁷⁰ Алексей Иванович Путилов (1866–1940), промышленник и финансист, сооснователь и содиректор Русско-Азиатского банка.

перенимать их приемы ведения дела. Я забыл упомянуть, что для глубокой запашки Ситников держал десять пар волов, на которых работали исключительно малороссы, так как крестьяне Тульской губернии, да и вообще всей черноземной полосы России, с волами совершенно не умеют обращаться.

Большие артели каменщиков, плотников, маляров и прочего мастерового люда наполнили усадьбу, окружные крестьяне подвозили лес, известь, кирпич и камень. Деньги сыпались как из мешка, и, когда я подписывал чеки, Ситников только отирал носовым платком свою лысину и приходил в ужас от этих расходов. Он боялся за мой карман, но я был совершенно спокоен: хотя я и привык тратить деньги, но умел их и зарабатывать. Что же касается размаха, который первое время так пугал Ситникова, то я всегда и во всех делах отличался широким размахом и большой смелостью – пожалуй, им я главным образом обязан тем, что кое-что сделал как в заводе, так и по части картинной галереи, равной которой нет не только в Европе, но и, пожалуй, нигде.

Как ни велики были затраты на все ремонты, но это были лишь ремонты, а я уже намечал строительную программу новых конюшен, служб, амбаров, мастерских, каретного сарая, электрической станции, водопровода, канализации и, наконец, большого дома, специально приспособленного для картинной галереи. От этих планов у Ситникова кружилась голова, и он со страхом смотрел на меня; соседи ждали моего разорения с часа на час, а наш земский начальник фон Зиссерман говорил Ситникову, что в один прекрасный день у меня все рухнет как карточный домик. Беспокойство охватило и моих родных, но я ни на что не обращал внимания и шел к намеченной цели.

В эти же первые годы я много покупал лошадей и расходы оказались очень велики. Деньги добывались всеми путями: учеты векселей, закладные, продажа земли в Херсонской губернии, наследство сестры – все пошло в Прилепы, пригодилось все. План постройки Прилеп был осуществлен полностью, и я не только не разорился, но к началу революции устроил свое состояние и создал орловский завод, который стоял в первых рядах среди 2000 заводов России. Все те, кто каркал о моем разорении, умолкли и с завистью смотрели на мое обогащение и возроставшую славу моего завода.

Соседи

Когда в доме все было налажено, предстояло подумать и о визитах к соседям. Меня ждали с нетерпением, которое плохо скрывалось, особенно дамами и молодежью. Я начал визитировать с Офросимовых. Они жили в верстах шести-семи от Прилеп, жили скромно, одиноко, но раньше в своем большом доме они много принимали и по воскресеньям туда съезжалась вся Тула.

У Офросимова было от отца очень большое состояние, затем он получил наследство от дяди, который когда-то был московским генерал-губернатором. Все это состояние было прожито Офросимовым на цыган, кутежи, лошадей и собак. Причем замечательно то, что Офросимов⁷¹ никогда не имел ни хороших лошадей, ни хороших собак. Как он умудрился прожить все и куда девал деньги, просто непостижимо!

Офросимов был недалекий человек с большими странностями и порядочный самодур. Однако при всем том высокопорядочный и добрый человек. Он прекрасно пел цыганские романсы и сам себе аккомпанировал; несмотря на почтенные годы, его все называли не иначе как Сашет Офросимов, чем он был очень доволен и молодился. Одно время он был уездным предводителем дворянства, но не дослужил своего трехлетия, так как подобно другому предводителю, Черкасову, наделал много невообразимых глупостей. Он до страсти боялся лошадей и всегда ездил на паре старых кляч собственного завода, беспрестанно покрикивая на кучера, чтобы тот ехал тише и осторожнее. Это, впрочем, выглядело совершенно бессмысленно: бедные клячи и без того едва передвигали ноги.

Его супруга Анна Михайловна была милой женщиной, простой и умной. Беговые дамы считали ее очень гордой и прозвали *Anne d'Autriche* (Анной Австрийской). Она нисколько не была горда, но держала себя с достоинством, с беговыми дамами не сближалась. Это неудивительно и понятно: на бегу большинство дам было либо из полусвета, либо прямо от «Яра», либо, наконец, не венчаны со своими мужьями. Естественно, что Анна Михайловна, выросшая и воспитанная в других традициях, не находила никакого удовольствия от такого общества.

Я частенько бывал у Офросимовых. Александр Павлович, несмотря на то, что много видел на своем веку, никогда ни о чем толком рассказать не мог, то и дело в разговоре приговаривая «вот и вот». Это у него настолько вошло в привычку, что его иногда шутя называли «Вот и вот». Платонов даже назвал так одного жеребца, и рысак Вот-и-Вот оказался резвой лошадей.

Дом Офросимовых был расположен вблизи села Лабынское, где когда-то находился чистокровный завод. После смерти владельца Лабынки переходили из рук в руки и наконец были куплены четой Фигнер, известными солистами Его Величества нашей оперы. Когда я узнал, что Лабынки лежат так близко от Прилеп, то поспешил съездить туда, дабы осмотреть это историческое коннозаводское гнездо.

Фигнеры были в Петербурге (они проводили в деревне не более двух месяцев), и потому я мог свободно осмотреть все, что меня интересовало. В Лабынках я разыскал древнего старика, которого все звали Дорофеичем, и он мне показал, где были конюшни и скаковой круг. Очень явственно и хорошо он помнил рассказ о том, как выбирали конюшенных мальчиков, как их испытывали и потом тренировали. Учитывая их легкий вес, мальчиков

⁷¹ Это – Ахросимов в «Живом труп» Толстого. Офросимов, как и представлено в пьесе, просил хоронить его с цыганским хором и его любимой песней «Шалмы-Версты». «И я встану!» – обещал Офросимов. Его просьбу, когда он скончался, исполнили, а он своего слова не сдержал.

сажают на молодых лошадей при заездке и тренинге. Не всякому пареньку это по силам и по вкусу, то был своего рода принудительный набор среди крепостных.

Вторично я был в Лабынках, когда m-me Фигнер приехала на лето из Петербурга в свою деревню. Она уже не жила с мужем, ее сопровождали дети – две дочери и два сына. Медя Ивановна была очень милая, обворожительная женщина, проводить время в ее обществе было большим удовольствием. При ней усадьба содержалась в образцовом порядке. Дом в Лабынках был также очень красив. Внутри все было роскошно и хорошо, много подарков высочайших особ, особенно Александра III, который любил чету Фигнер. Наверху имелась комната, где стоял рояль и где Чайковский написал два последних акта одной из своих знаменитых опер (к сожалению, не помню, какой именно).⁷²

Тут же висело несколько портретов композитора, лежали ноты и, в отдельной папке, фрагменты партитур с его карандашными пометками.

Фигнер решила продать имение, но когда об этом узнали крестьяне, они ночью подожгли дом, дабы Медя Ивановна, как они ее называли, поскорее выполнила свое намерение и не имела бы возможности приехать в Лабынки и передумать. Главными покупателями имения выступали лабынские крестьяне, но когда Фигнер узнала об их проделке, то поклялась Лабынки им не продавать. Тогда я повел переговоры о покупке имения, где хотел содержать ставочных (продажных) жеребцов, и если б не революция, оно было бы, конечно, куплено мною.

По Воронежскому шоссе на десятой версте от Тулы, на низком месте у самого берега реки Упы, лежит Сергиевское, старинная усадьба господ Языковых. Старый высокий каменный дом, еще принимавший в своих стенах екатерининских орлов, хорошо виден всем, кто едет по большаку из Богородицка в Тулу. Все в этом доме возвращает нас к давним временам и напоминает о прошлом: и архитектура, и толстые, как у крепости, стены, и незатейливая мебель из красного дерева, ясеня и русской березы работы крепостных людей, и, наконец, небольшие стрельчатые окна, разные каморки, закуты, решетки и кладовые нижнего этажа. Кругом дома все запущено. Уныло и сурово глядят конюшни и амбары – сверстники старого дома – и будто удивляются и не понимают, что происходит кругом. А кругом разросся парк со своими столетними липовыми аллеями, березовыми куртинами, искусственными курганами, прудами, поросшими молодым камышом. Дивно хорошо в запущенном парке, особенно осенью, когда уже чувствуется приближение зимы и умирающая природа спешит упиться последними лучами солнца. В парке тихо и темно; лишь изредка яркий луч солнца проникнет в аллею и бросит свое отражение на уже пожелтевшую зелень или кучу увядшей листвы. Эта заброшенная, поэтичная усадьба Языковых вот уже много лет как не живет полной жизнью, а лишь тихо дремлет. Только на месяц или два в году туда приезжают из Петербурга старая хозяйка да ее сын, молодой и страстный ружейный охотник. Но и при них в Сергиевском так же тихо и спокойно: не съезжаются гости, не звенят бубенцы троек, не слышно людского говора и не снуют рабочие и дворовые; хозяйство здесь не ведется вовсе: все сдано крестьянам в аренду. И неотразимое впечатление покоя и тишины производит запущенная усадьба.

Неподалеку от Сергиевского, ближе к Туле, лежало имение Топтыково, принадлежавшее графу Андрею Львовичу Толстому – одному из пяти сыновей Льва Николаевича. Я не стану описывать графа Андрея: о самом Льве Николаевиче и его семье писали так много, что я решительно ничего не могу сообщить в дополнение к уже написанному. Ограничусь поэтому двумя-тремя личными впечатлениями.

⁷² Чайковский работал с Н. Н. Фигнером над последней арией Германа в опере «Пиковая дама». Партии Лизы и Германа были созданы им в расчете, что исполнителями будут Фигнеры, с которыми он был в дружеских, хотя не всегда равных отношениях. Фигнеры в самом деле стали первыми исполнителями ведущих партий, и Н. Н. Фигнер отказывался петь с другими сопрано, кроме своей супруги.

Топтыково отстроено Андреем Львовичем; там было довольно уютно, но неприятно поражало желание блеснуть и представить все в несколько напыщенном свете. Хозяин был женат на г-же Арцымович, он похитил её у мужа, бывшего тульским губернатором. Эта история наделала много шума. Г-жа Арцымович, милая женщина, вероятно, в душе сильно раскаивалась в своем поступке. Момент увлечения прошел, Андрей Толстой предстал перед ней таким, каким был в действительности: кутилой, мотом и довольно грубым человеком. Трудно читать в чужой душе, но мне кажется, что я верно прочел мысли и чувства графини, которая не была счастлива со своим новым мужем.

Андрей Львович любил лошадей, но не настоящей, а тщеславной любовью. У Офросимова – завод, у Бутовича – завод, у Кулешова – завод, как же было не завести завод графу Толстому?! И он его завел, потом продал, а затем, под впечатлением прилепских успехов, вторично завел, на этот раз купив у меня вороного жеребца Самолета. Жеребенком Самолет был хорош и подавал большие надежды, но поломал ногу и навсегда погиб для беговой карьеры. Нога срослась, и он поступил в завод Толстого. Помимо Самолета, Толстой купил у меня несколько кобыл. Из них одна ушла жеребой, она принесла Толстому превосходного жеребенка, которого он назвал Холстомером в честь повести своего отца. Этот Холстомер потом недурно бежал в Санкт-Петербурге.

Когда министром внутренних дел был назначен Маклаков,⁷³ Андрей Толстой вдруг почувствовал рвение к службе, продал завод, сдал именице в аренду и переехал в Петербург, где получил хорошее место. Таким образом, и свой второй завод Толстой вел очень недолго.

Перед отъездом в Петербург он заехал ко мне проститься. Было уже поздно, и он остался на ужин. В Прилепах в это время никого, кроме меня и художника-баталиста, профессора Самокиша, не было. Андрей Львович любил выпить, Самокиш тоже, а потому ужин протекал шумно. Самокиш был превосходным рассказчиком и очень нас смешил. В конце ужина вдруг Андрей Толстой обратился к нам с вопросом: «Скажите, пожалуйста, какое лучшее произведение Льва Николаевича Толстого?» Это было сказано настолько неожиданно, что мы с Самокишем пришли в недоумение и переглянулись. Затем Самокиш расхохотался от всей души, а Андрей Толстой торжествовал произведенным впечатлением и гордо молчал. Наконец Самокиш, придя в себя, сказал: «Конечно, «Война и мир». Я с этим не согласился, считая лучшим произведением Толстого «Холстомера». Граф Андрей Львович презрительно улыбнулся и затем изрек: «Ничего подобного. Лучшее произведение Льва Николаевича Толстого, конечно, Андрей Львович Толстой!» Самокиш пришел в неопишуемый восторг и покатился со смеху, а я только и мог что сказать: «Однако, милый граф!»

Между языковской усадьбой и Прилепами были расположены два небольших имения: одно – господина Линка, другое – фон Зиссермана. Рядом с имением Зиссермана находилось Лутовиново – усадьба купца Лагунова. Усадьба когда-то принадлежала блестящему князю Сонцову-Засекину, едва ли не последнему представителю знатного рода. Усадьба была хороша: красивый и поместительный деревянный дом, флигеля, службы. Все вместе взятое составляло красивый архитектурный ансамбль. Лагунов жил во флигеле, очень скромно, а дом стоял пустой, и мебели в нем не было никакой, так как ее давно продали московским антикварам. Во всей усадьбе всего-то и была одна лошадь, тележка да бочка для воды. Хозяин усадьбы зиму жил в Москве и на лето приезжал в Лутовиново, которое давно продавал, но не находил покупателя, так как при этой большой усадьбе, кроме парка и вырубленного леса, земли не было.

Приблизительно за год до Мировой войны, читая как-то «Новое время», я случайно наткнулся на объявление, что, мол, в Тульской губернии, в десяти верстах от Тулы, сдается

⁷³ Н. А. Маклаков проводил консервативные политические меры. Его брат В. А. Маклаков придерживался толстовства, но Андрей Львович Толстой, самый антитолстовец из детей писателя, был по убеждениям ближе к Н. А. Маклакову.

на лето бывшая усадьба князя Сонцова-Засекина с великолепным парком и домом. Потом следовало описание дома с розовой гостиной, белым колонным залом, синим кабинетом и прочим. Тут же упоминалось, что можно иметь по недорогой цене все продукты и лошадей, затем сообщался московский адрес хозяина и указывалась арендная цена. Я от души расхотелся этому трюку и подумал, удастся ли Лагунову поймать кого-либо на удочку? Объявление было составлено очень ловко. Все эти розовые, синие и голубые комнаты действительно существовали и были так названы по цвету обоев и окраске; что касается продуктов и лошадей, то в Туле их можно было достать сколько угодно, в самом Лутовинове ровно ничего не было!

Я давно позабыл об этом объявлении, но как-то вечером Ситников сообщил мне после доклада, что в Лутовинове вот уже больше недели живут Маковские – семья художника К. Е. Маковского. На другой же день я решил поехать с визитом к Маковским и познакомиться с ними. Я всегда увлекался живописью и вообще искусством, много вращался в художественных кругах, а потому был чрезвычайно рад этому соседству, мечтая уже о том, чтобы просить Маковского написать хотя бы один конский портрет. После обеда подали белую тройку (я обыкновенно ездил только на пегих лошадях), которую мне прислал в подарок брат; она была заложена в коляску на красном ходу работы московского каретника Маркова. Эта коляска была сделана по особому заказу и была удивительно красива, удобна и хороша. Именно в этой троечной коляске ходил в корню Ворон, и тройка получила массу наград на конкурсах и состязаниях. Подали тройку. Прежде чем сесть, я велел кучеру проехать перед домом несколько раз по кругу и не мог не прийти в восторг – так хорош и так красив был этот выезд. Белая тройка была куплена братом случайно; это были уже немолодые, но очень эффектные лошади.

Когда кучер мягко вкатил во двор лутовиновской усадьбы, то моим глазам представилась следующая картина. Перед домом, на заросшей травой площадке, среди кустов роз, дико растущих и превратившихся в шиповник, играла в теннис девушка удивительной красоты. На ней было простенькое светлое платьице, она была стройна и изящна, и каждое ее движение полно грации и красоты. Дивная русая коса ниспадала с плеч, румянец заливал щеки, а глаза, большие, синие, лучистые, с чудными ресницами, смотрели удивленно и как бы испуганно. Как мила, как хороша была эта девушка! Она вскрикнула от удивления и неожиданности, когда увидела подкатившую вдруг тройку, и ракетка выпала у нее из рук. Ее партнер, интересный молодой человек, поспешил поднять ракетку, а я подошел к девушке, чтобы представиться.

В доме нас приняла г-жа Маковская и сейчас же начала рассказывать о том, что им пришлось пережить, приехав в Лутовиново, и как они были обмануты. Для этой красивой и избалованной женщины все случившееся было настоящей трагедией. Правда, положение оказалось трудное: мебели никакой, кроватей нет, лошадей тоже, все продукты и посуду пришлось купить в Туле. Сидеть им пришлось на балконе, так как в доме имелось всего три стула, стол и табурет, наскоро купленные в городе. «Когда мой муж прочел объявление, – продолжала свой рассказ г-жа Маковская, – он пришел в восторг и сейчас же решил снять на лето лутовиновский дом, так как ему хотелось поработать и пописать с природы в Центральной России, которую он очень любит. Напрасно я просила его послать кого-нибудь все осмотреть. Он только мне отвечал: «Что ты! Зачем это нужно? Старинная усадьба князей Засекиных, да и Лагуновы – это достаточная гарантия, это старинные дворяне: обманывать не будут». Сейчас же после этого разговора была послана телеграмма в Москву, а затем и арендная плата. Лагунов прислал расписку в получении денег и сообщил, что все распоряжения в Лутовинове сделаны.

В мае семья выехала в Тулу. Константин Егорович только приговаривал: «Не берите лишних вещей, я хорошо знаю старые дворянские усадьбы, там все найдете». Когда Маков-

ская вместе с дочерью, сыном и его гувернером приехали в Тулу, то, несмотря на заранее посланную предупредительную телеграмму, на вокзале никаких лошадей и подвод для сундуков не оказалось. Маковская была в ужасе и хотела следующим поездом вернуться в Петербург, но молодежь запротестовала, и через несколько часов на двух нанятых тройках Маковские въехали в Лутовиново; сундуки со всеми туалетами дам остались пока что на вокзале в Туле.

«Вошла я в дом, – рассказывала Маковская, – вижу кругом одно запустение: никакой мебели, ни сесть, ни лечь не на чем. Села я на пол в белом колонном зале, расплакалась и не придумаю, как быть». Молодежь принялась утешать мать. Решили остаться и на другой день послать гувернера в Тулу за всем необходимым. Чудный парк произвел свое впечатление, и молодежь носилась в нем и открывала все новые виды. Утром на трех крестьянских телегах гувернер торжественно поехал в Тулу и привез посуду, самовар, койки, стулья, стол и табуреты. Маковская, которая рассчитывала блистать и выезжать с дочерью и взяла несколько сундуков туалетов, была разочарована, увидев, что здесь не до приемов и не до выездов. Она написала отчаянное письмо мужу и ждала со дня на день его приезда. Мне были несказанно рады, а когда я предложил им прислать назавтра двух коров, экипаж, лошадей, умывальник и кровати и пригласил к себе, благодарностям не было конца.

На следующий день Никанорыч с транспортом вещей тронулся в Лутовиново, сзади вели коров, а спереди ехала коляска. Ситников, который имел удивительную способность всегда и везде поспевать, сам распорядился отбытием этого транспорта. Почти каждый день я бывал у Маковских или же они у меня, и я находил большое удовольствие в обществе очаровательной Елены Константиновны. Скажу откровенно, в первый раз в жизни я был на волосок от женитьбы!

Через несколько дней приехал Маковский и поспешил ко мне в Прилепы, дабы меня поблагодарить. Этот высокий, стройный, необыкновенно красивый старик держал себя с достоинством, был вполне светским человеком и говорил умно и очень интересно. Ум его отличался большой ясностью, здравостью суждения и значительной степенью оригинальности. Словом, очаровательный человек и интереснейший собеседник. Маковский много видел на своем веку, путешествовал, водил знакомство и дружбу с выдающимися людьми своего времени и сам был знаменит – одно время имя его было у всех на устах не только в России, но и за границей. Маковский был близок к Александру II, его ценил и любил Александр III, а русский меценат граф Строганов в нем души не чаял. Маковский имел колоссальные заказы, зарабатывал громадные деньги и жил полной жизнью, по-царски, никогда и ни в чем себе не отказывая. Он был несколько раз женат; его жены слыли первыми красавицами Петербурга, а сам он был для женщин неотразим. Наконец, Маковский славился как страстный коллекционер и большой знаток старины, особенно русской. Его коллекции фарфора, бисера, финифти, утвари, уборов, мебели и картин были известны даже за границей.

Маковский пробыл у меня весь день, обедал, ужинал и лишь поздно вечером уехал домой. Он с большим интересом хвалил некоторые полотна Сверчкова и тогда же сказал мне, что такого идейного собрания он нигде не встречал не только в России, но и за границей. «Я обязательно напишу вам вашу любимую лошадь», – пообещал он.

К сожалению, вскоре его по делам вызвали в Петербург, оттуда он поехал в Нижний, там заболел и, вернувшись в Петроград, осенью того же года трагически погиб, так и не исполнив своего обещания. Портрет остался ненаписанным, и я больше не увидел Маковского. Этот эстет, этот человек, всю свою жизнь преклонявшийся красоте, умер самым нелепым образом. Извозчик, на котором он ехал, налетел на ломового; Маковский упал, был буквально раздавлен и с окровавленной головой унесен дворниками соседнего дома в один из дворов, где положен на голую, грязную землю и прикрыт, как покойник, рогожей. Несчастный старик был еще жив, все чувствовал и понимал. Наконец пришел околоточный, сразу

понял, что несчастье случилось с большим человеком, потребовал карету скорой помощи и отправил Маковского в больницу. Там его узнали, сообщили семье, а к вечеру Маковского не стало.

Я решил съездить к Дмитрию Дмитриевичу Оболенскому, которого знал уже давно, как по Москве, так и по Петербургу. В свете его звали Миташей Оболенским, и был он одной из самых популярных фигур обеих столиц. Мне хотелось осмотреть его Шаховское, откуда вышло столько знаменитых рысаков. В Шаховское меня влекло еще и собрание сверчковских портретов. Кроме того, я справедливо полагал, что в деревне и на досуге князь, как гостеприимный хозяин, расскажет мне много интересного о своей прежней деятельности, и в этом я не ошибся. Оболенский был превосходный и неутомимый рассказчик. Поездка в Шаховское на всю жизнь оставила у меня самые приятные воспоминания, и те два дня, что я провел там, я считаю весьма значительными днями моей жизни.

Князь Оболенский, как говорит его славное имя, принадлежал к родовой русской знати и всю свою жизнь посвятил деревне. Его жизнь настолько сложна, интересна и многогранна, наконец, его выдающаяся коннозаводская и спортивная деятельность имеет такое огромное значение, что мне придется посвятить этому выдающемуся человеку небольшой очерк.

Дмитрий Дмитриевич родился в Шаховском, здесь протекла вся его жизнь и коннозаводская деятельность. Имение лежало верстах в тридцати от Прилеп, по ту сторону Упы и в другом уезде. Со станции Оболенское Сызрано-Вяземской железной дороги ведет прямая как стрела дорога. Хотя станция находилась недалеко, верстах в шести-семи, но для князя устроили специальную платформу, от неё было рукой подать до княжеской усадьбы. Что представляло собой Шаховское, которое так любил и которое с такой самоотверженностью, так долго отстаивал Оболенский? Большое имение, тысячи три десятин земли. Для нашей полосы это было очень крупное земельное владение. Земля хорошая – тульский довольно глубокий чернозем, местность ровная и неоднобразная, река Упа и ее приток Шат оживляют картину. Лугов много по обеим рекам, и сена хороши на заливных лугах и в низинах. Само Шаховское производит впечатление не нашей дворянской усадьбы, а имения в западном крае или же за границей: расположено на ровном месте, при доме небольшой парк, а далее – два хороших фруктовых сада, паддоки (загоны для пастьбы лошадей) окружали деревья или особый кустарник, который подстригался по шнурку, что было очень красиво. Несомненно, эти паддоки составляли украшение усадьбы. Я посетил все лучшие заводы России, но таких паддоков не видал нигде. Паддоки были разбиты англичанином, который служил у Оболенского, в них воспитывались и чистокровные, и рысистые лошади.

Все постройки – кирпичные, под железом, сделанные прочно и красиво. При имении была паровая мельница, а также много служб. Все хорошо и прочно стояло на своем месте, что, увы, так редко встречается в большинстве русских усадеб. Дом двухэтажный, старинный, очень поместительный и удобный. Когда вы только переступали порог, обстановка ясно давала вам понять, куда вы попали. Все просто, скромно и уютно, но просто и скромно той простотой, которая дается не всем и стоит дороже всякой позолоты и мишуры. В архитектурном отношении дом был наименее удачной постройкой, но так как это был еще дедовский дом, то князь его не тронул, ограничившись лишь необходимыми переделками внутри. Постройки усадьбы как бы венчала белая церковь со многими золотыми куполами, к ней вела старая липовая аллея. Надо сказать, что Оболенский ценил старину и понимал в ней толк.

Общее впечатление, которое оставляло Шаховское, было самое благоприятное; здесь ни в чем не было видно самодурства и затей, чувствовалось много вкуса и подлинной красоты. В вестибюле господского дома висели литографии Сверчкова, изображавшие известных рысистых лошадей сороковых и пятидесятих годов, а также несколько фотографий

преимущественно знаменитых английских чистокровных жеребцов, в разное время выведенных в Россию. Уже в этом вестибюле вы чувствовали, что попали в дом коннозаводчика или, во всяком случае, страстного лошаdnика. В кабинете хозяина по стенам были развешаны портреты лошадей и собак работы лучших наших художников, а также две-три первоклассные картины охотничьего жанра. Мягкая ореховая мебель кабинета располагала к уюту и покою. Этот стиль, созданный петербургскими мастерами Туром и Гамбсом, был высшим достижением николаевской эпохи и одно время пребывал в непростительном небрежении. Перед самой революцией его вновь «открыли» и стали искать и платить за него большие деньги. В гостиной было много интересного стекла и фарфора в старинных горках, какими пользовались еще деда и бабки Оболенских и Вырубовых. Столовую, большую и длинную, украшали трофеи охоты, а в небольшой угловой гостиной висели фамильные портреты. Среди них некоторые, правда немногие, кисти первоклассных мастеров прошлого столетия. Очень удобны и уютны были комнаты гостей, там все было предусмотрено, чтобы вы могли себя чувствовать как дома. Наконец, одна комната в верхнем этаже отводилась под библиотеку, была увешана старыми, весьма ценными английскими гравюрами лошадей и парфорсной охоты (за лисой). В библиотеке стояли шкафы, наполненные книгами, кресла, два-три стола с блокнотами и карандашами для заметок. В этой комнате можно было не только спокойно читать, но и работать.

Интересен был по живописи большой портрет княгини Оболенской верхом на ее любимой чистокровной кобыле. Сверчков взял для портрета красивый пейзаж и изобразил лошадь на шагу; тут же рядом бежит белая левретка – любимая собака княгини. Помимо портретов, у Оболенского были чрезвычайно интересные фотографии, например, знаменитой Грозы и Железного. Все это погибло, но у меня имеется портрет Грозы, который был переснят по моей просьбе еще до войны. Фотография Железного не уцелела. Князь очень любил эту лошадь. Уезжая, почти спасаясь бегством из Шаховского, князь все же взял фотографию Железного. Это была небольшая фотография, оправленная в серебряную подкову и всегда висевшая у князя в спальне, возле кровати. Вот почему я не знал о ее существовании. Впервые я увидел эту фотографию уже в Туле, в маленькой комнате Оболенского, но переснять ее в то время не представлялось возможным. К несчастью, когда князь уезжал за границу и укладывался, кто-то из мальчишек, помогавших укладываться, стащил фотографию. И она погибла. Насколько мне известно, это было единственное изображение Железного.

Не только портреты и фотографии имел Оболенский, он интересовался также прошлым нашего коннозаводства и собрал весьма интересный архив. Частично архив погиб, но самое интересное было спасено и приобретено мною.

Дмитрий Дмитриевич, когда я его знал, находился в преклонных годах – ему было за семьдесят лет, но, несмотря на это, он сохранял ясность ума и большую подвижность. Князь был среднего роста, не сухощав, но и неполон, имел мелкие черты лица. Говорят, что в молодости он был очень красив. Стариком он носил небольшую бороду и коротко стриг волосы, которые, несмотря на годы, были у него густы и хороши. Князь имел немало врагов, так как не всегда был воздержан на язык. Говорили, что он любил сплетни, но в моих отношениях с ним мне не пришлось этого заметить.

Совсем молодым человеком, кажется, даже еще ребенком, Оболенский потерял отца, который погиб трагически: его зарезал бритвой во время бритья крепостной камердинер. Князь остался сиротой и был воспитан своей матерью. Все предвещало молодому человеку блестящую будущность, и первая половина его жизни была именно такой. Он рано окончил университет, был красив, богат, умен, принят и ценен при дворе, и его карьера разворачивалась с головокружительной быстротой. Его очень любил покойный император Александр II, и князь, совсем молодым человеком, был пожалован шталмейстером высочайшего двора – редкая милость для того времени.

Оболенский мне рассказывал, что он был в поезде, в котором следовал Александр II на южный берег Крыма, когда этот поезд потерпел страшную аварию, не помню уже возле какой станции, в результате подготовленного покушения на государя. Александр II и бывшие с ним спаслись каким-то чудом, и князь рассказывал много интересных подробностей об этом кошмарном крушении.⁷⁴ От него же я слышал: после освобождения крестьян Александр II имел продолжительную беседу с московским предводителем дворянства, коннозаводчиком Д. Д. Голохвастовым. Оболенский был хорош с Голохвастовым и в точности передал мне суть этой исторической беседы.

Александр, обратившись к Голохвастову, сказал, что ему хорошо известно, что некоторые московские дворяне будируют и недовольны тем, что он не дает конституции. «Неужели, – добавил государь, – они не понимают, что Россия держится только монархией? Стоит мне дать конституцию, за ней последуют новые требования, и Россия расплзется по швам. Трудно управлять Россией одному, и мне тяжелее, чем кому-либо другому; я много об этом думаю и рад бы был разделить, как в Англии, бремя власти с представителями всех сословий, но для России это сейчас невозможно. Мое убеждение, что с падением монархии погибнет и Россия. И я, исполняя свой долг, не даю конституции, так и скажите дворянам», – закончил государь. Теперь мы можем судить о том, насколько мудрый государь был прав. Его слова оказались пророческими, и его внук Николай и Россия испытали это на себе.

Оболенский не только преклонялся, но прямо-таки боготворил Александра II; в кабинете, на письменном столе, в гостиной, в комнатах князя было немало фотографий, представлявших государя в разное время его жизни.

Еще молодым человеком Оболенский начал служить дворянству и был избран предводителем своего уезда. Затем, с введением земства, он неизменно принимал в нем активное участие и стал одним из виднейших деятелей губернии. Его интересовали также финансовые и экономические вопросы, при его содействии в Туле был открыт первый Городской Банк и построена Сызрано-Вяземская железная дорога. Он отстаивал то направление, которое считал лучшим, и ускорил, благодаря своим связям и положению, прохождение этого вопроса в правительственных сферах. Правление дороги поднесло ему золотой жетон, на котором было указано, что князь имеет право бесплатного проезда. Оболенский всегда носил этот жетон, и на Сызрано-Вяземской дороге Оболенского знали все. Ему же принадлежит приоритет открытия залежей угля в Тульской губернии, в районе станции Оболенской, на своей земле. Он долго пытался устроить акционерную компанию и в конце концов достиг успеха. Оболенские шахты стали крупным предприятием, начали приносить доход, но случилась революция, и другие воспользовались результатом его инициативы. По его примеру начались изыскания и в других уездах. Этот угольный район получил название Московского угольного бассейна и сыграл очень большую роль при устранении топливного кризиса в первые годы революции.

Любя с детства лошадей, князь завел завод и призовую конюшню, вернее, два завода и две конюшни: чистокровных и рысистых лошадей. Вращался он среди скаковых охотников и любителей кровной лошади, сердце его больше лежало к ней, нежели к лошади рысистой. Кроме того, Оболенский унаследовал от своего деда Бибикова страсть к псовой охоте, а она требовала верховой езды – отсюда знание верховой лошади. Рысистым охотником, а потом заводчиком Оболенский, честно говоря, сделался случайно.

Оболенский был женат на дочери тамбовского коннозаводчика П. И. Вырубова. Княгиня очень любила лошадей, и князь утверждал, что она лучше, нежели он, знает рысистую

⁷⁴ Александр II возвращался из Крыма. Шли два поезда: в одном – свита и багаж, в другом – император. Свитский состав на полчаса опережал Царский поезд. Террористическая организация «Народная воля» подготовила засады, но в Харькове паровоз свитского состава сломался и первым пустили Царский поезд. Заговорщики, не зная об этом, недалеко от Москвы, у Рогожской заставы, взорвали мину, когда проезжал свитский состав, поезд потерпел крушение, но жертв не было.

лошадь. Князь был счастлив в своей супружеской жизни. Даже стариками, когда во время революции я навещал их в Туле, они были очень трогательной и нежной парой. У его тестя Вырубова в Козловском уезде Тамбовской губернии был превосходный рысистый завод, с которым Оболенский познакомился в то время, когда еще был женихом. Вырубов подарил Оболенскому несколько превосходных рысистых лошадей, и Оболенский говорил мне, что он увлекся их красивыми формами и стал ценить рысака. После этого он начал посещать бега, заинтересовался этим делом и завел рысистый завод. Так Оболенский стал рысачником и достиг на этом поприще выдающихся результатов. Князь был выбран действительным членом многих спортивных обществ и, наконец, вице-президентом Императорского Московского Скакового общества и таковым же Тульского бегового общества. Таким образом началось его общественное служение на скаковом и беговом поприщах, которое продолжалось много лет.

Оболенский обладал очень трезвым умом, был европейски образованным человеком с широким кругозором и верным взглядом на спорт, и неудивительно, что с ним чрезвычайно считались и еще больше ценили. Знамя вице-президента Императорского скакового общества он держал высоко и обществом руководил твердой рукой. Когда всесильный московский генерал-губернатор Владимир Андреевич Долгорукий попытался было умалить прерогативы общества, то Оболенский блестяще отстоял независимость этого старейшего спортивного учреждения.

Всё предвещало Оболенскому продолжение блестяще начатой карьеры, но погубила князя страсть к обогащению, которая не только не принесла желаемого увеличения и без того хорошего состояния, но и вконец разорила Оболенского. Вот как это случилось. Во время Русско-Турецкой войны главными поставщиками армии были Греггер, Горвиц и Варшавский – известная тройца.⁷⁵ В обществе ходили легенды о тех злоупотреблениях, какие имели место в интендантстве, и о сказочном обогащении этих трех главных поставщиков, державших в своих руках все продовольствие и снабжение действующей армии. Оболенский, по одной версии, возмущенный этими злоупотреблениями, а по другой – желая стать миллионером, подал в ставку Главнокомандующего контрпроект снабжения армии сухарями, который был принят, а Оболенскому сдан подряд. Он получил большой аванс для своих операций по сушке и доставке сухарей, но договор, который он подписал, обязывал его крупной неустойкой в случае несвоевременной доставки или же недоброкачества товара.

Речь шла о миллионах, и игра, которую вел Оболенский, была крупная. Для осуществления своего грандиозного предприятия Оболенский оставил все другие дела и взял кредиты в разных банках на очень крупные суммы. Когда сухари были уже готовы и частично даже подвезены к армии, интендантство их забраковало как некондиционные, непригодные. Оболенский знать не хотел интендантства, полагался на свои связи при Дворе и жестоко поплатился. Говорили, что если бы он тогда вошел в сделку с интендантством, то сухари были бы приняты и Оболенский нажил бы большие миллионы. К чести его, он на сделку не пошел и предпочел разорение бесчестию. Греггер, Горвиц и Варшавский торжествовали. По слухам, часть сухарей Оболенского попала в армию, но в мешках уже других поставщиков и после долгих переговоров с интендантством, а Оболенский на этой операции потерял все свое состояние и превратился в нищего.

Трагедия была разыграна, блестящий князь Миташа вынужден был снять свой шталмейстерский мундир, ликвидировать обе конюшни, оба конных завода, удалиться от блестящей жизни при дворе. Разоренный, с разбитым сердцем и израненной душой, он очутился в

⁷⁵ Взятый им многомиллионный интендантский подряд аферист Варшавский разбил на паи и перепродал по частям. Фирма «Греггер, Горовиц, Коган и К^о», тоже взявшая подряд, нажилась на поставке в армию гнилых продуктов. С подрядчиками щедро делились, прикарманивая как минимум половину украденного, чиновники и генералы-интенданты.

деревенской тиши. Злые языки, а их всегда немало, прозвали Оболенского «сахарным князем», и это прозвище так и осталось за ним.

Спаслось лишь одно его Шаховское, потому что оно было на имя жены, но и Шаховское было сильно заложено для сахарных операций. Оболенских ждала жизнь скромных помещиков. Князь сдался не сразу, он ездил, просил, хлопотал, судился, взывал к общественному мнению, но юридически право было на стороне интендантства, и Оболенский везде и во всех инстанциях проиграл.

Николай Павлович Малютин рассказывал мне, что Оболенский, еще питая надежду выиграть процесс, но нуждаясь в деньгах, специально приехал к нему в Париж, прося займы крупную сумму. Малютин отказал, ибо знал, что процесс выиграть невозможно и деньги все равно пропадут. Положение князя было критическое: денег нет, а надо уезжать из Парижа в Россию. Тогда Оболенский предложил Малютину купить у него Волокиту и пять лучших маток (завод Оболенского спасся, так как тоже находился в Шаховском). Малютин согласился, и, желая выручить князя, не торгуясь, запатил назначенную крупную цену. Его великодушие было вознаграждено сторицей: Громадный, Горыныч и другие происходят от этих княжеских кобыл, не говоря уже о том, каких дочерей оставил Волокита.

Поселившись в Шаховском, Оболенский не мог и не хотел успокоиться. Уже через несколько лет после краха он пытался войти в новые крупные дела, но фортуна, которая так долго к нему благоволила, теперь окончательно от него отвернулась и князь потерпел новые неудачи в своих предприятиях. Все эти годы, вплоть до Великой Европейской войны, жизнь князя была сплошной героической борьбой за Шаховское. Имение было так обременено долгами, что каждый год назначалось банками в продажу с торгов. Двадцать пять лет князь снимал Шаховское с торгов то при помощи дворянских субсидий, то при помощи связей и распоряжений из Санкт-Петербурга, то, наконец, при помощи государя, который несколько раз вносил проценты банку из своих личных средств.

Надо было обладать исключительной настойчивостью и изворотливостью, чтобы столько времени спасать имение от продажи, а главное, надо было страстно любить Шаховское, чтобы столько перестрадать и пережить из-за него. Князь беззаветно любил свое родовое гнездо и целью своей жизни поставил не допустить продажу имения и передать его единственному внуку. Этому он добился, и внук его по достижении совершеннолетия получил Шаховское и уплатил все долги, так как был очень богат, наследовав состояние своего деда по материнской линии. Этому счастливого момента князь ждал двадцать один год, но дождавшись, недолго утешался сознанием, что Шаховское наконец спасено: года через два случилась революция и Шаховское было национализировано.

Оболенский был дружен и хорош со многими выдающимися людьми. Его дружба со Львом Толстым известна...⁷⁶ Кто из образованных людей не знает теперь имя Фру-Фру? Толстой этим именем назвал лошадь Вронского, давая в «Анне Карениной» свое замечательное описание Красносельской скачки.⁷⁷ Именно Оболенский продал Льву Николаевичу чистокровную кобылу своего завода Фру-Фру, внучку знаменитой Экзекютрис, принадлежавшей Александру II. Портрет Экзекютрис кисти Брюллова и Клодта ныне находится у меня, он был куплен мною во время революции.

⁷⁶ Фамилия и облик Дмитрия Дмитриевича Оболенского, по мнению его знавших, отразились в Стиве Облонском из «Анны Карениной». Однако старший сын Толстого, Сергей Львович, называл прототипом Стивы Облонского мужа племянницы Толстого – Леонида Дмитриевича Оболенского.

⁷⁷ На Красносельской скачке Оболенский был судьей, он рассказал Толстому о падении одного из участников, князя Голицына. Его рассказ подсказал писателю трагическую ошибку Вронского и гибель Фру-Фру. Нет сведений, что продажа реальной Фру-Фру состоялась. Толстой не имел очень дорогих скаковых лошадей до тех пор, пока богатые друзья не подарили ему чистокровного Делира, на котором Толстой ездил до конца своих дней. По традиции конников, Делира ввели за гробом Толстого, а когда конь пал, похоронили вблизи могилы писателя.

Оболенский был также хорош со светлейшим князем П. Д. Салтыковым, Д. Д. Голохвостовым, графом Толем и, наконец, графом Воронцовым-Дашковым. Это были все лучшие люди своего времени и знаменитые коннозаводчики, спортсмены или общественные деятели. Приятельские отношения поддерживал Оболенский и с графом Соллогубом, автором «Тарантаса», и со Сверчковым. С последним он был в переписке, и у него хранилось несколько писем художника – скорее всего, их уничтожили или покурили на сигарки.

Общение со столькими замечательными людьми своего века не могло не наложить своего отпечатка на этого интересного человека, и Оболенский сам стал знаменит. Он пользовался популярностью, хотя я считаю, что его все же недостаточно оценили. Оболенский был, что называется, орлом по полету. Энергии, инициативы и настойчивости у него был непочатый край. В Америке или Англии Оболенский занял бы одно из первых мест в государстве или стал бы миллиардером, а у нас он натолкнулся сперва на интендантство, затем на рутину и косность тогдашних капиталистов. Во второй половине семидесятых страшное несчастье обрушилось на завод князя. Ночью случился пожар, сгорела ставочная конюшня – с лошадьми, поставленными на продажу, и жеребятник, причем, в огне погибли лучшие молодые лошади: трехлетки, двухлетки, годовики и отъемыши. Всего в огне погибло около пятидесяти лошадей.

В последней конюшне, как особенно теплой, стоял производитель – старик Железный. По словам Оболенского, Железный был лучшей рысистой лошадью, которую он знал. Оболенский был положительно влюблен в Железного, который был под пять вершков росту (свыше 160 см.), очень глубок, капитален, костист и при этом породен, как араб. Масти он был белой и имел редкую особенность: его грива достигала колен, так была она велика. Однако он показался мне скорее простоват, чем арабист. Когда я высказал это князю, он пришел в положительное негодование и несколько раз повторил: «Я уже вам говорил, что Железный был настоящий араб!» Фотография была снята зимой, и остается предположить, что зимняя шерсть, обросшие грубым волосом ноги не давали верного представления о типе этой лошади и упрощали ее; вероятно, в летнем уборе Железный отвечал тому, о чем так настойчиво говорил мне Оболенский. Железному, не суждено было пожать лавры в заводе Оболенского, он трагически погиб. Все, что дал Железный Оболенскому, сгорело; однако от проданной им жеребой кобылы и Железного родилась Жар-Птица – мать Питомца, о котором когда-то говорила и думала вся спортивная Россия.

Хотя причина пожара не была выяснена в точности и виновник не обнаружен, но князь мне говорил, что это была месть одного из конюхов англичанину, заведовавшему этими двумя конюшнями и бывшему очень требовательным и строгим. Удар, нанесенный коннозаводской деятельностью Оболенского, был из числа тех, от которых не только трудно, но почти невозможно оправиться. Но завод Оболенского пережил все и, несмотря ни на что, вошел в историю коннозаводства страны. Старый князь мог гордиться тем, что два таких рекордиста, как Крепыш и Питомец, происходили по прямой женской линии от кобыл, родившихся в его заводе. Плодами того, что создал Оболенский, результатом его знаний, исключительно умелым и талантливым подбором жеребцов и маток воспользовались другие. И как воспользовались – вывели массу резвых лошадей и даже рекордистов.

У князя уже жеребята получали овес – и это в то время, когда среди рысистых охотников существовало убеждение, очень выгодное для кармана, что до двух лет молодой лошади давать овес вредно. У Оболенского, кроме того, жеребята подпаивались коровьим молоком и им давались яйца. Вместо табунов, жеребята ходили в паддоках и несли с самого раннего возраста правильную и систематическую работу. Этот режим для рысистого завода был установлен управляющим англичанином, убедившим князя, что если он желает иметь хороших лошадей, то он должен воспитывать их как чистокровных лошадей и прежде всего сделать культурными.

Князь часто менял ездоков. Он мне сам рассказывал, что после корректных и дельных англичан-жокеев и тренеров его возмущали и выводили из себя грубые и подчас пьяные российские ездоки. Известен печальный конец посылки Грозного в Вену на международные бега. Грозный имел исключительные шансы на выигрыш и, по отзывам венской спортивной прессы, должен был легко взять приз. Однако Ефим Иванов выехал вдребезги пьяным и не был допущен к участию в беге! Такое безобразие едва ли могло с кем-либо случиться, кроме русского человека.⁷⁸

Годы с 1871-го по 1875-й – расцвет спортивной деятельности Оболенского. В это время он три года кряду выигрывает в Петербурге Императорский приз: в 1873 году на Грозном, в 1874-м на Волоките, в 1875-м на Светляке. Я выразил князю удивление по поводу этих трех выигранных призов, а он улыбнулся и сказал, что, если бы не упрямство и не самомнение Телегина, он выиграл бы и четвертый Императорский.

«Осенью 1875 года я был в Орле, – рассказывал князь. – Я увидел у Телегина очень резвого пятилетка. Я прикинул, что при правильной подготовке он может зимой выиграть Императорский приз, и, решив его купить, предложил Телегину хорошие деньги. Он наотрез отказался. Тогда, чтобы убедить его, я сказал, что обязательно на его лошади выиграю Императорский приз и специально для того покупаю лошадь, то есть открыл ему свои карты и добавил: «Какая слава ожидает завод Телегина, как это благоприятно отразится на продажах лошадей!» Телегин с самомнением ответил, что он и сам сумеет выиграть Императорский приз на такой резвой лошади. «Нет, не выиграете! – ответил я. – Держу пари, что даже не приведете лошадь в Санкт-Петербург: мало иметь лошадь, надо еще иметь ездока и уметь ее подготовить к такому призу». Телегин лошади не продал, и Оболенский уехал из Орла. Слова его сбылись полностью: телегинский рысак был поломан (переработан) и не пришел в Санкт-Петербург.

Оболенский не только видел, но и чувствовал лошадь. Генеалогию орловского рысака он не знал и ею не интересовался. Однако он сам и без всякой посторонней помощи – помощи генеалогов – составил столь замечательный завод, что имя его навсегда вошло в историю рысистого коннозаводства страны.

У Оболенских было двое детей – сын Сергей и дочь,⁷⁹ которая не совсем удачно вышла замуж, затем развелась, вторично вышла замуж и со своим вторым мужем уехала в Америку. Сын Сергей Дмитриевич хотя и получил самое лучшее образование, не блистал талантами. Во времена наместничества графа Воронцова-Дашкова он сделал административную карьеру и стал на Кавказе губернатором, на каковом посту его и застала революция. Первый раз он был женат на очень богатой девушке и от этого брака имел сына. Его жена была дочерью генерал-адъютанта Дундукова-Корсакова, занимавшего много высших административных постов и одно время, если мне не изменяет память, бывшего наместником Кавказа. Жена Сергея Дмитриевича Оболенского была богата. Когда она умерла, князь Дундуков распорядился, чтобы Оболенский получил лишь необходимые деньги на воспитание сына, а затем этот последний по достижении совершеннолетия должен был вступить во владение своим громадным состоянием. Сергей Дмитриевич женился вторично, после чего его отец взял на

⁷⁸ В руках Ефима Иванова вороной Бедуин (упомянутый в «Гардениных») на Парижской Всемирной Выставке был признан лучшим, что не опровергает мнения Оболенского и упреков Бутовича по адресу талантливейшего наездника. Случалось и случается! Тем же пороком страдал первый наездник Крепыша Василий Яковлев – одна из причин, почему от него взяли Крепыша, что роковым образом сказалось на судьбе и даровитого наездника, и великого рысака. В 1952 г. на Московском Ипподроме класснейший наездник Н. А. Калала на Аракиле выиграл вне конкуренции два из трех гитов (заездов) Большого Всесоюзного Приза, но в перерыве между гитами успел преждевременно отпраздновать победу, в третьем гите прямо со старта не смог удержать Аракила, и они слетели с беговой дорожки.

⁷⁹ Бутович, очевидно, имеет в виду детей, которые были живы, когда он бывал у Оболенского. Двое сыновей Оболенского умерли в детстве, третий покончил с собой. Одна из дочерей утонула, пытаясь спасти своего мужа, другая умерла от ожогов – на балу от свечи загорелась ее кисейное платье.

себя воспитание его сына, своего внука, в котором буквально не чаял души и который был действительно замечательным мальчиком. Князь Дмитрий Дмитриевич в нем справедливо видел не только продолжателя своего славного рода, но и блестящего во всех отношениях юношу.

Я знал молодого князя, иногда видел его у деда. Он окончил Пажеский корпус очень молодым, что-то в девятнадцать лет, и был выпущен в лейб-гвардии Конный полк. После этого он сейчас же отправился на театр военных действий и через два года был не только адъютантом полка, но и имел золотое оружие за храбрость и Владимира 4-й степени с мечом и бантом. В этом юноше было львиное сердце, он отличался безумной отвагой. Карьера его складывалась самым лучшим образом, и после того, как он прослужил бы два-три года полковым адъютантом, государь, по традиции, должен был пожаловать его во флигель-адъютанты. В двадцать три года флигель-адъютант государя, блестящий офицер одного из лучших гвардейских полков и если не герой, то один из храбрейших офицеров гвардейского корпуса! Вот карьера, которую делал внук Оболенского. Молодой князь был очарователен во всех отношениях: высок ростом, строен и очень красив. Черты его лица были тонкие, необыкновенно приятные, мягкие и несколько женственные. Глаза голубые, с каким-то особым, привлекающим выражением. Волосы золотистые, с редким отливом. Сложен он был замечательно. Он привлекал к себе сердца, через какой-нибудь час после знакомства вы чувствовали себя с ним легко и свободно, как с родным и близким человеком. Таких людей любят, и такие люди бывают счастливы.

Молодой князь превосходно владел языками, получил прекрасное образование. Он был умен, и, несомненно, его ожидало большое будущее. Лошадей он любил, но только верховых, и, смеясь, говорил мне: «Яков Иванович, я не люблю ваших рысаков, они так просты по сравнению с чистокровными». Когда разразилась революция, а позднее Гражданская война, он с опасностью для жизни перебрался на Юг и принял участие в военных действиях против красных. Этого блестящего молодого человека пощадила война, но не пощадила гражданская междоусобица, и он погиб геройской смертью, пораженный во время атаки пульей в сердце. Когда в Туле об этом узнал старый князь, он принял этот последний удар судьбы стоически, однако с Россией его не связывало уже ничто, он всем тяготился и при первой возможности князь покинул ее пределы.⁸⁰

Река Упа, протекая у самого подножия прилепской усадьбы, разделяет мое имение на две части: верхнюю, или нагорную, где на крутой горе стоит дом и постройки завода, и низменную, или луговую, где расположен беговой круг и остальная земля. По водоразделу реки идет и деление губернии на уезды. Верхняя часть – это Тульский уезд, нижняя, за рекой, – Крапивенский. Все упомянутые люди жили в Тульском уезде, но у меня были соседи и в Крапивенском. При большом и богатом селе Ломинцеве, где было волостное правление и обосновались сельские власти, стояла усадьба А. Н. Кривцова,⁸¹ который имел в свое время небольшой конный завод.

Юрист по образованию, Кривцов служил по судебному ведомству. Довольно долго он работал в Москве и именно в это время вошел в состав Московского бегового общества, был его действительным членом и недолгое время – старшим членом. Его беговая карьера прервалась очень скоро, после чего он продал завод и лет пятнадцать-двадцать вовсе не бывал на бегах и в спортивных кругах. Дело в том, что он продал какую-то лошадь, отсюда вышли большие неприятности, и он должен был вернуть свой членский билет обществу. Все это

⁸⁰ Дмитрий Дмитриевич Оболенский в 1918 году был арестован в Шаховском и заключен в городскую тюрьму Богородицка. В 1923 году он эмигрировал во Францию, где спустя восемь лет скончался. В изгнании работал переводчиком английской военной миссии, входил в Русскую секцию борьбы против III Интернационала. Похоронен на кладбище Кокад в Ницце.

⁸¹ Из семьи Тульского губернатора Николая Ивановича Кривцова, который был знаком и переписывался с Пушкиным.

произошло в тесном беговом кругу, широкой огласки не получило и на дальнейшей судебной карьере Кривцова не отразилось потому, что он имел благоразумие отойти от бегового дела, так что неприятную историю решено было предать забвению.

Кривцову тогда, когда я с ним познакомился, перевалило за пятьдесят лет; это был коренастый и довольно плотный человек, необыкновенно подвижный, живой и энергичный. В молодости он, вероятно, был красив, и глаза его сохранили необыкновенный блеск и юношеский задор. Несомненно умный и талантливый человек, он обладал громадной памятью, был недурным оратором, и говорили, что свое дело, судебное, он знал хорошо, считался одним из лучших юристов. Наряду с положительными, у Кривцова имелось много отрицательных черт характера. Он был человеком неуравновешенным, чрезвычайно экспансивным и большим карьеристом. В угоду карьере он мог принести какую угодно жертву и приносил их немало на своем веку. Мне как-то пришлось читать воспоминания Лемке,⁸² и там он дает убийственную характеристику Кривцову, прямо называя его клоуном за то, что тот заискивал и угодничал перед близкими царя, паясничал, чтобы их позабавить. Быть может, Лемке и сгустил немного краски, но для получения очередной звезды или ленты Кривцов, конечно, шел на многое. Он очень любил, между прочим, всякий эффект, любил произвести впечатление и заставить о себе говорить.

Однажды у меня в Прилепах Кривцов просил заложить в кабриолет производителя Недотрога, отца Кронпринца, сказав, что он мне покажет, как ездили в старину. Я не знал за Кривцовым этой удали, но Недотрог по езде был очень милой и спокойной лошастью, опасности не было решительно никакой, и я велел его заложить. Экипаж был для двоих седоков и очень удобен. Выехали на бег. Я сидел рядом с Кривцовым, он правил; размяв лошадь первый круг, затем выпустил ее, забрал руки кверху и заорал благим матом: «Хау, хау!». Этот концерт продолжался всю версту, несчастный Недотрог не знал, куда ему ногу поставить, все время поводил ушами и сжимался на ходу. Я едва сдерживал приступы смеха, а Кривцов был очень доволен собой. Видимо, в этом крике и заключалась старинная езда.

Лучшей маткой кривцовского завода была, несомненно, Кокетка, мать весьма резвой Любы. Кокетка происходила от Щеголихи завода графа Сергея Николаевича Толстого (родного брата Льва Николаевича), которая была дочерью Щеголя. Ее родная сестра Красотка была буланой масти и изредка давала буланных лошадей, что я объясняю её родством с арабской кобылой Эвену-Окей.

Вот при каких обстоятельствах, по словам Кривцова, арабская кобыла получила имя Эвену-Окей. Весть о покупке арабской кобылы разнеслась из барского дома по дворне, а потом достигла и деревни. Это было еще до отмены крепостного права, и крестьяне живо интересовались всем, что делалось на барском дворе. Прошло несколько дней, и стали снаряжать за Оку подводу и людей за кобылой. Наконец прискакал верховой и сообщил, что кобыла прошла уже соседнее село и скоро будет здесь. Господа, кое-кто из дворни пошли навстречу. Мужики гурьбой присоединились к процессии. Запад тихо догорал, когда вдали за пригорком показалась в попоне и капоре арабская кобыла. Ее торжественно вел под уздцы конюх. Сзади на телеге ехал кучер с сынишкой. Кобылу подвели к барину, и господа начали любоваться и хвалить ее формы. Это была небольшая, сухая и очень кровная кобыла – словом, типичная лошадь восточных кровей. Однако мужики иначе реагировали на эту сцену: они, согласно своим вкусам, ожидали увидеть массивную, мохноногую и густую кобылу-жеребятницу. Естественно, они были разочарованы этой поджарой кобыленкой, и один из них не утерпел и с неодобрением громко сказал: «Э, вона, Ока!» – что должно было означать: вот, мол, что привел барин из-за Оки! Это восклицание настолько понравилось барину,

⁸² Лемке Михаил Константинович (1872–1923), историк цензуры, редактор первого в России собрания сочинений Герцена.

что он назвал гнедую арабскую кобылу Эвона-Ока, но в студбукке она появилась под более благозвучным для арабской лошади именем Эвену-Окей. «Эвона Ока – Эвену-Окей!», – так закончил свой рассказ Кривцов и при этом немилосердно вращал глазами, жестикулировал и в порыве страсти прямо кричал.

У себя в доме Кривцов любил принять и угостить гостей. Он понимал толк в еде и лично заправлял тонкие блюда. При этом закармливал своих гостей невероятно, и в конце обеда или завтрака совсем ошалевшие гости поневоле вспоминали о демьяновой ухе. Он умел уговорить гостя съесть лишний кусок, расхваливал блюда, подливал вино, потчевал, просил, настаивал. После его завтраков и обедов я долго не мог прийти в себя. Надо отдать ему должное, уговорить он был великий мастер и, кажется, способен был бы и мертвого накормить.

По случаю назначения министром народного просвещения племянника его жены, Льва Кассо, Кривцов дал завтрак, и во время завтрака я сделал «гаффу» – досадную оговорку. Фамилии Кассо я до этого никогда не слышал, приказ о назначении еще не был напечатан, а в Португалии в это время произошла революция, и газеты были полны именами португальских деятелей. «Месье Бутович, мой племянник Кассо назначен министром народного просвещения», – обращается ко мне г-жа Кривцова по-французски (она любила говорить на этом языке). – «Поздравляю вас, сударыня, – отвечал я ей на том же языке. – Где же ваш племянник получил портфель? Вероятно, в Португалии?». Представьте себе всеобщее молчаливое изумление и негодование. Кривцов начал мне объяснять, что Кассо назначен министром в кабинете Столыпина!⁸³ Мне ничего не оставалось более, как замять разговор, сославшись на свою рассеянность и те хорошие вина, которые успели уже воздействовать на меня.

Последний раз я видел Кривцова во время войны, ранней весной. Мы встретились на перроне тульского вокзала и, как оказалось, оба ехали в Петроград. Кривцова провожало несколько человек, и у него в руках был букет первых весенних фиалок. Он очень шумел и громко рассказывал, что нарвал эти фиалки лично и везет их жене.

⁸³ Лев Аристович Кассо (1866–1914) оставался министром в кабинетах Столыпина, Коковцева и Горемыкина. Его политика сводилась к усилению государственного контроля над учебными заведениями.

Всероссийская конская выставка

Дома

Почти весь конец 1909 года я прожил безвыездно в Прилепах. Зимняя деревенская жизнь в средней полосе России, несомненно, имеет свои прелести, и я всегда любил деревенскую зиму. В небольшом доме было тепло и уютно, дрова потрескивали в каминах, в окна глядело ясное синее небо, деревья в саду были покрыты красивым инеем, река замерзла, и по ней уже шла езда. Утром после кофе и первой выкуренной сигары, которая доставляет такое удовольствие каждому настоящему курильщику, я отправлялся на конюшню, смотрел лошадей, наблюдал за гонкой в манеже и иногда ходил на реку посмотреть езду двухлетних рысаков. Частенько я делал выводку заводских маток и жеребцов и обсуждал с наездниками и Ситниковым коннозаводские новости Москвы и наши деревенские происшествия. Особенно я любил присутствовать на маточной во время обеденной уборки и после того, как кобылы поедят овес и примутся за свежее зеленое сено. Я обходил вместе с маточником Андреем Ивановичем Руденко всех кобыл, заходил к каждой в денник и некоторыми из них подолгу любовался. Наконец все кобылы пересмотрены, и в конюшне, кроме меня и маточника, никого нет: ребята давно уехали обедать. Пора уходить и нам. Я отпускаю маточника, конюшню запирают до четырех часов дня – времени проводки маток, и я ухожу домой. Здесь, в теплом и уютном доме, тоже хорошо: со стен смотрят портреты знаменитых рысаков, яркий луч солнца иногда играет на золоте фарфора и в кабинете пахнет сигарами. Время до обеда летит незаметно: посмотришь газету и коннозаводские журналы, ответишь на письма. И вот пора обеда. Иногда к обеду придет кто-либо из соседей или охотник из города, и разговор всегда вертится вокруг лошадей и событий деревенской жизни. Летит время: не успеешь выкурить сигару и влечь почитать последний французский роман, как уже стемнело и настало время вечерней уборки.

Нельзя отказать себе в удовольствии лишний раз посмотреть на своих любимцев, и опять идешь на конюшню, опять наблюдаешь знакомую жизнь, слышишь нетерпеливое ржание кобыл, беспокойное ржание и волнение жеребцов и тонкий, как бы нерешительный голос жеребят. Кругом снуют конюхи, медленно, важно раздает порции овса Андрей Иванович, а Ситников нервными шагами ходит по коридору и все замечает, все видит. На ставочной и в конюшне производителей еще оживленнее: здесь оба наездника громко обсуждают завтрашнюю работу; один из них, Лохов, кого-нибудь смешит или пробирает; сами лошади, молодые, полные жизни и огня, ведут себя в денниках беспокойно и нервно. Глаза у них горят, они скалят зубы, вертятся и не берутся за корм до тех пор, пока в конюшне не настанет полная тишина и люди не удалятся по домам.

В этом лошадином царстве и у людей, и у животных сытый и довольный вид: люди живут для лошадей, все помыслы, все интересы усадьбы сосредоточены на сыне Каши или сыне Боярской, на детях Недотрога, успехах Кота в Одессе и прочем. Как-то хорошо и радостно на душе, и этот довольный вид людей кажется таким естественным и понятным, и сердце еще не чувствует того, что близок, близок момент, когда человек человеку станет зверь и улыбка довольствия надолго исчезнет с лиц. Долгие зимние вечера проводишь за чтением, почти всегда один, с сигарой и книгой в руках. Иногда на огонек зайдет приходский священник отец Михаил. Оставишь его ужинать, и батюшка рассказывает все новости о свадьбах и крестинах, что уже были или еще предстоят в Прилепах и Кишкине.

Так мирно и спокойно текла жизнь той зимой в Прилепах; я отдыхал душой, работал, много читал, занимался лошадьми и строил планы на будущее. Вот миновали Рождествен-

ские праздники; отстояли всем миром в церкви, помолились Богу, приняли, по обычаю предков, в доме и на усадьбе духовенство с иконами и хоругвями, и жизнь опять вошла в свою обычную, трудовую колею. Сейчас же после праздников я уехал сначала в Москву, а потом в Санкт-Петербург; там я встретил Новый год, который мне сулил столько успехов и радостей на коннозаводском поприще.

На Ходынском поле

С середины 1909 года в коннозаводских кругах начались усиленные толки о том, что необходимо устроить Всероссийскую конскую выставку. В начале десятого года, после многих заседаний и проработки вопроса в комиссиях, было объявлено, что Выставка состоится в Москве во второй половине августа. Избрание Москвы для устройства Выставки отвечало общим желанием, так как Москва всегда была центром коннозаводской жизни страны.

Все в лошадином мире пришло в волнение: крупным коннозаводчикам пришлось думать о том, что и как лучше выставить, дабы со славой выдержать конкуренцию других заводов и получить высшие премии; спортсмены и охотники из горожан мечтали похвастать перед всей коннозаводской Россией своими рысаками; а барышники думали о том, как бы хорошо на этом деле приработать и во время съезда, который обещал быть многолюдным, пораспродать застоявшийся на их конюшнях товар.

В Москве на бегу разговоры о предстоящей Выставке не умолкали; стало известно, что территорией Выставки с согласия города избрано Ходынское поле, причем именно тот его участок, который непосредственно примыкает к Беговой аллее. Выставка открывалась не только в центре коннозаводской жизни страны, но и, можно сказать, прямо-таки в ее сердце – возле бегов, рядом с Башиловкой, недалеко от Петровского парка, там, где и была сосредоточена вся деятельность московских спортсменов и охотников.

Для меня, еще молодого коннозаводчика, она имела чрезвычайное значение, ибо мои лошади впервые должны были выступить перед публикой и затем получить оценку во все-российском масштабе. Я тщательно обдумывал, что и как надлежало выставить. Я уже мог показать три-четыре лошади вполне выставочных форм, среди которых лучшей была Фурия, дочь Недотрога и Феи. Первоначально я так и думал поступить. Однако изменил решение, и вот почему. Завод мой был очень крупных размеров, лошади уже бежали с выдающимся успехом, правда, пока лишь на провинциальных ипподромах, и, наконец, благодаря моему знанию пород и популярности в коннозаводских кругах, на меня как на коннозаводчика возлагались очень большие и даже преувеличенные надежды. Словом, мой завод уже тогда рассматривался как один из крупнейших орловских питомников в России, так что выставить от него двух-трех хороших лошадей было явно недостаточно: такой успех прошел бы незамеченным и не принес бы никакой пользы. Я решил поступиться самолюбием, не выставлять лошадей, родившихся у меня в заводе, а показать тот породный материал, который я собрал и с которым предполагал вести работу. Я, конечно, предвидел, что мои враги и конкуренты будут всячески по этому поводу интриговать, заявляя, что мол, какая же это заслуга, что Бутович выставил замечательных кобыл, ведь все эти кобылы не его завода. Мол, дайте нам денег – мы купим и выставим еще лучших. Таких разговоров было сколько угодно, тем не менее, я унес с Выставки большой и шумный успех, все правильно рассчитав и верно сделав ставку на психологию масс и настоящих охотников. Нечего и говорить, что кроме того, все эти кобылы были превосходного экстерьера, крайне породны и кровны. Некоторые из них, например Ветрогонка и Аталанта, были близки к совершенству в смысле породности и ясно выраженного восточного типа, а Летунья являлась, несомненно, одной из лучших кобыл рысистого коннозаводства страны. Выставляя даже не группу, а целое гнездо орловских маток одной масти – белой, превосходных по себе, я мог рассчитывать, что об этом станут много говорить и до некоторой степени это гнездо явится центром общего внимания.

Вокруг гнезда, действительно, завязалась горячая борьба страстей, оправдались все мои даже самые смелые предположения. Когда началась выводка, после второй или третьей кобылы Бибикив, большой знаток экстерьера, схватился за голову и затем только приговаривал: «О, боже!» – что должно было выражать полный восторг.

Выставка вызвала интерес не только среди москвичей, но и по всей России. Все гостиницы были буквально переполнены, ни в одной из них невозможно было достать свободного номера, и беговое общество вынуждено было срочно организовать у себя нечто вроде общежития. Всюду велись разговоры о лошадях, и имена знаменитых коннозаводчиков и лучших лошадей были у всех на устах. На самой Выставке толчея была невообразимая, в конюшнях нельзя было протолкнуться. Посетители – москвичи и провинциалы – с каталогами в руках ходили, осматривая лошадей. Музыка гремела, в ресторане то и дело хлопали пробки и шампанское лилось рекой. Группы коннозаводчиков сходились, расходились, спорили, обсуждали и критиковали действия экспертов. Ржание, звон копыт, крики конюхов, распоряжения управляющих – все это вместе взятое сливалось в одно целое.

Эти две недели охотники и весь конюшенный персонал жили, как в угаре, а вечером, когда Выставка закрывалась, «Яр» ломился от посетителей, и не было ни одного домика на Башиловке, на Верхней и Нижней Масловке и в Петровском парке, где бы не светился огонек и не шли бы «лошадиные» разговоры. В Петровском Дворце пребывали великий князь Дмитрий Константинович и молодые князья дома Романовых. Здесь также все интересы вращались вокруг лошадей и будущих чемпионов. Не только во Дворце, но везде обсуждались шансы лошадей. Кобылы были любимицами публики, о них больше всего думали и говорили. Наконец награды были объявлены, и кокарды – белая, синяя, красная, зеленая, желтая и малиновая – запестрели на табличках, указывая на первую, вторую, третью, четвертую, пятую и шестую премии. Гром аплодисментов встречал премированных лошадей.

В девятнадцатом павильоне под номером 275 стоял Громадный – отец великого Крепыша. Выставленный его заводчиком И. Г. Афанасьевым, он пользовался на Выставке наибольшей популярностью. Вокруг его денника целый день толпилась публика. Многих он интересовал как отец Крепыша и буквально всех привлекал своей необыкновенной внешностью. Приведу отрывок из статьи профессора Правохенского, который измерял Громадного, профессор приезжал специально для осмотра Громадного и своими впечатлениями поделился с читателями газеты «Коннозаводство и спорт»: «Лично я не придаю производству обмеров никакого значения. Нахожу даже, что требование известной величины обмера под коленом основано на печальном недоразумении. Но обмер у Громадного положительно стоит целой особой статьи, настолько его кости необыкновенно мощны».

Вокруг Громадного шли разговоры, слышались слова восхищения, лошадь эта подкупала всех своей действительно необыкновенной породностью и ясно выраженным аристократизмом. На собрании экспертов голоса разделились: метизаторы ни за что не хотели признать Громадного лучшей лошадью Выставки и давать ему царский кубок. Сторонники чистокровной лошади (от них выступил секретарь Скакового общества И. И. Ильенко) хотели присудить награду чистокровной лошади. Однако общее собрание всех экспертов явно склонялось на сторону Громадного. Тогда И. И. Ильенко заявил, что у Громадного рорер (затрудненное дыхание) и потому он недостоин высшей награды. Положение спас профессор П. Н. Кулешов, который сказал: «Отвод несостоятельный: тот, кто дал Крепыша, изъяснов иметь не может!» Между Ильенко и Кулешовым произошла резкая полемика, победителем из которой вышел, конечно, Кулешов. Ильенко счел себя обиженным и на другой день вызвал Кулешова на дуэль. Само собой разумеется, эта дуэль не состоялась. После заявления Кулешова общее собрание экспертов присудило-таки Громадному царский кубок. Так восторжествовала правда! Громадному была присуждена высшая награда – драгоценная братина – пивная чаша, пожалованная государем императором за лучшую лошадь Выставки. Эта награда была, несомненно, дана по заслугам. Тогда Карузо в своей записной книжке отметил: «Громадный – нет правого глаза; очень красивые уши и глаз, шерсть мягкая, грудь призовая. Очень тонкая кожа. Глаз замечательный, замечательная лошадь».

Гастроном Елисеев просил меня показать ему моих кобыл, а затем принять приглашение позавтракать у него в гостинице и побеседовать на коннозаводские темы. Я охотно согласился, так как Елисеев был очень милый, воспитанный и приятный человек. Приезжая в Москву, он всегда останавливался в «своих» номерах, то есть на Тверской, в том же доме, где находился его знаменитый магазин, делавший такие же обороты в год, как иной уездный город. После выводки моих кобыл, которые очень понравились Елисееву, мы поехали завтракать. Я знал Елисеева давно, еще в 1903 году продал ему Рыцаря и бывал у него в Петербурге, а потому наша беседа сразу же приняла доверительный характер. Елисеев был очень озабочен неуспехом своих лошадей, но особенного значения этому не придавал и полагал, что все можно исправить подбором и введением нового производителя. В конце концов, для этого богатейшего в России человека его рысистый завод был не делом, а удовольствием, и сам он был весьма доволен своими лошадьми. Елисеев просил меня помочь ему произвести сортировку завода и сделать подбор. Он деликатно упомянул, что рад бы меня отблагодарить, но не знает чем. Тогда я ему сказал, что был бы очень ему признателен, если бы он мне уступил знаменитую свою матку Соперницу, которой было уже тогда 22 года. Елисеев мне ее тут же подарил.

После завтрака мы поехали на дачу Елисеева смотреть его лошадей. Началась выводка. Через некоторое время я стал замечать, что Елисеев пришел в веселое расположение духа и едва сдерживает себя, дабы не покатиться со смеху. Он рассеянно наблюдал за лошадьми, часто что-то шептал на ухо жене Вере Федоровне, они перемигивались и тихо смеялись. Я сначала не мог понять, в чем дело, но наконец догадался. Выводчик настолько вошел в азарт и, желая как можно лучше показать хозяину товар лицом, стоя перед лошадью, сам того не замечая, делал страшные глаза, строил невероятные рожи и глухо под нос рычал: «Х-хо!» От этого только что выведенная лошадь сначала подпугивалась, потом подбадривалась, затем пятилась назад и, наконец, принимала позу. Это действительно было забавно – я не выдержал, расхохотался, за мной – Вера Федоровна. А с Елисеевым сделалась чуть ли не истерика. Выводка закончилась весело.

Съезд коннозаводчиков

Под давлением графа Воронцова-Дашкова, главы петербургских метизаторов, и весьма влиятельного лидера московских метизаторов Шубинского, Главное управление государственного коннозаводства все не утверждало постановление Московского бегового общества ввести ограничения для метисов, чтобы оставить половину всех разыгрываемых призов для лошадей орловского происхождения. Тогда лидеры-орловцы выдвинули проект созыва Всероссийского съезда коннозаводчиков, с тем чтобы всем была предоставлена возможность, путем закрытой баллотировки, высказаться по вопросу ограничений. Метизаторы всячески препятствовали осуществлению этой идеи. Управляющий государственным коннозаводством генерал Зданович, сначала взял сторону метизаторов, однако с отклонением утверждения ограничений все медлил, так как боялся великих князей и дорожил своим местом. Главное управление вынуждено было созвать Съезд. На Съезде орловцы одержали блестящую победу. Подавляющее большинство высказалось за необходимость установления ограничений и принятия мер к сохранению орловского рысака. Под давлением так ясно выраженного общественного мнения страны Главное управление вынуждено было утвердить ограничения.

После одного из заседаний Съезда мы остались у великого князя Дмитрия Константиновича пить кофе и курить сигары. Дмитрий Константинович был в хорошем расположении духа, и разговор вертелся вокруг литературных тем. Великий князь вспомнил какой-то рассказ Лескова и очень талантливо его передавал. Рассказ этот в свое время был плохо встречен критикой и оценен лишь позднее.⁸⁴ По этому поводу великий князь справедливо заметил, что критики нередко ошибаются, а затем рассказал нам весьма комичный эпизод с одним произведением знаменитого нашего поэта Фета.

Это было в Петербурге, в то время когда генерал-инспектор кавалерии великий князь Николай Николаевич задумал упразднить институт ремонтеров и вместо них ввести ремонтные комиссии.⁸⁵ Ремонтеры в то время были очень влиятельны, а потому проект великого князя встретил немалое противодействие. Собирались комиссии, писались проекты и контрпроекты. Наконец и коннозаводчики отозвались на для них животрепещущий вопрос, и в печати появилось немало статей «за» и «против».

Известно, что поэт Афанасий Фет, отставной кавалерист, имел небольшой завод верховых лошадей. Он написал блестящую статью в защиту ремонтных комиссий. Статья была напечатана в московском спортивном журнале Гиляровского и подписана псевдонимом. Эта статья обратила на себя внимание великого князя, и ему было сообщено, что она написана Фетом. На одном из заседаний комиссии, где окончательно решался вопрос о ремонтерах, председательствовал, по обыкновению, великий князь Николай Николаевич и присутствовал также Дмитрий Константинович. Шел оживленный обмен мнениями по поводу статей и высказанных в них взглядов. Один из знаменитых ремонтеров, генерал, яростно напал на статью безымянного автора и в заключение заявил, что она безграмотна. Его поддержали другие столпы ремонтного дела. Взял слово великий князь Дмитрий Константинович и сказал, что эта «безграмотная» статья написана... Фетом! Все мы, присутствовавшие, от души смеялись над этим эпизодом, и великий князь просил шутя и нас рассказать что-либо интересное, но не из области вымысла, а из действительной жизни.

⁸⁴ Многие произведения Н. С. Лескова, отвергнутые критикой, позднее подверглись переоценке, например, антинигилистический роман «На ножах». В данном случае речь могла идти о рассказе «Загадочный человек» – об итальянце, который приехал в Россию изучать русский народ.

⁸⁵ Ремонт от французского *remonger a cheval* – снова сесть на лошадь или же на другую лошадь, то есть замена и пополнение конского состава кавалерии.

«Позвольте мне, Ваше Высочество, рассказать действительный случай, имевший место во время Крестного хода в имении моего отца, где действующим лицом был также конский охотник и притом священник, – начал я свой рассказ. – Отец передавал мне, что когда он купил Касперовку, а было это в шестидесятых годах, и переехал туда жить из своего полтавского имения, знаменитых Черевков, этот угол Новороссии был еще первобытным и малокультурным краем. В плавнях еще ходили табуны одичавших лошадей; воспоминания о беглых были свежи в памяти у всех, разбои на дорогах и страшные преступления были обычным делом, и картины, так талантливо в свое время описанные Данилевским в его романе «Беглые в Новороссии», были вполне приложимы к Касперовке и ее окрестностям. В то время приходским священником в Касперовке был почтенный старец отец Харлампий, страстный любитель лошадей, имевший свой табун и все свое свободное время отдававший лошадям. Это был человек прежнего закала, недалекий, малообразованный, но добрейшей души и чистого сердца. Он был любим и уважаем всеми, и столь редкое тогда население края видело в нем чуть ли не отца родного. Любимым занятием отца Харлампия было коннозаводство: он сам выращивал лошадей, сам водил их на ярмарку и продавал и, наконец, сам с ними по целым дням возился. В то время у моего отца не было еще рысистого завода, но зато на конюшне стояло несколько верховых коней, дончаков, как их тогда называли. Один из них был любимцем отца и отличался большой резвостью; это была лошадь крупная, сухая, угловатая, или костлявая, как говорил отец, с горбоносой головой и мышастой масти. Отец Харлампий также имел дончака и несколько раз говорил отцу, что не худо было бы их примерить. Сын священника, мальчуган Вася, был таким же страстным охотником, как и его отец. Он целые дни не слезал с лошади и намотал на ус слова отца. Приближался праздник Святой Пасхи. В тот год Пасха была поздняя, и весна уже вступила в свои права. Кругом все зеленело, полопались почки, распустились листья, дичь прилетела из теплых краев, и все стрекотало, трещало и пело на все лады. И вот на праздник, в ясный, прозрачный и теплый день сын священника Вася подговорил такого же мальчугана, как и он, конюха отца, который ходил за верховыми лошадьми, примерить дончаков.

Все были в церкви, и никто не знал о предстоящем состязании, и нужно же было так случиться, что состязание как раз совпало с выходом из церкви Крестного хода, во главе которого в облачении и с крестом в руках шел отец Харлампий. Под звон колоколов Крестный ход торжественно вышел из церкви и тронулся в путь, в это время из-за пригорка показались наши дончаки. Мышастый отца явно забирал верха, и Вася делал все усилия, чтобы не отстать. Отец Харлампий, сначала не понимая, в чем дело, с удивлением следил глазами за дончаками, понял, ретивое сердце охотника заговорило в нем, и он, приставив руку в виде рупора ко рту, закричал во всю мочь: «Вася, наддай, шельмец, наддай еще!» Все взоры обратились на скачущих. Первым пришел в себя отец Харлампий: он перекрестился, поднял опущенный было крест, запел пасхальный канон, и Крестный ход благополучно тронулся дальше».

После моего рассказа произошел оживленный обмен мнениями относительно дончаков, которые в те времена пользовались славой и любовью охотников. Это были замечательные лошади, и великий князь рассказал нам о них много интересного. Дмитрий Константинович, еще молодым человеком, побывал на Дону, беседовал с прежними коннозаводчиками и ремонтерами, говорил со старыми табунщиками и от них знал, что прежние дончаки имели в своей породе кровь карабаиров и текинских жеребцов.⁸⁶ Великий князь подверг разбору экстерьер отцовского дончака. Костлявость, сухость, легкость и горбоносость он счи-

⁸⁶ Карабаиры и текинцы (ныне ахалтекинцы) – древние среднеазиатские породы, отличающиеся сухостью сложения, выносливостью и быстротой, их прежде называли аргамаками. «Аргамак мой степной ходит весело» – Лермонтов запечатлел характер этих коней, он же сделал с них зарисовки, когда служил на Кавказе.

тал наследием текинских жеребцов, которых в свое время было много в донских табунах. «Вспомните Ворона, – говорил Дмитрий Константинович, – или двух белых кобыл, которых выставляла на последней пятигорской выставке Асхабадская заводская конюшня – ведь это в самых резких чертах экстерьер дончака Ивана Ильича, с которым состязался дончак отца Харлампия».

Великий князь был большим знатоком лошади, и его выводы были верны.

Опять в Прилепах

Выставка закрылась, мой завод прогремел на всю Россию, и я с сознанием выполненной задачи вернулся в Прилепы. Уже глубокой осенью, когда я собирался уезжать из Прилеп, неожиданно на тройке прикатил Телегин. Ему показали на выводке весь завод. Телегин экстерьер знал в совершенстве и лошадь видел превосходно. Вывели Фурию, дочь Недотрога и Феи. «Какая выдающаяся кобыла!» – заметил Телегин и спросил, чьего завода. Я ответил, что родилась у меня. Телегин удивленно посмотрел, пожал плечами и спросил: «Почему же вы ее не выставили? Она бы обязательно получила первую премию». Я заметил Телегину, что у Фурии тяжела голова. «Это верно, – ответил он. – Но кобыла замечательная». Фурия была удивительно хороша по себе: в ней было полных пять вершков роста, спина по линейке, исчерпывающая сухость, замечательные ноги, ширина – словом, все, что можно требовать от кобылы. Единственное, за что можно было упрекнуть эту замечательную кобылу, так это за ее голову, которая была велика и горбоноса, но не безобразна. Из-за этой головы я ее не повел в Москву в своей группе на Выставку. Когда Фурии исполнилось четыре с половиной года, я жил в Одессе и решил ее взять для городской езды. До этого она находилась в заводе и к бегам не подготавливалась. Кобылу привели в город и поставили на конюшне брата, который зимой всегда жил в Одессе и имел там превосходных выездных лошадей.

Одесса особенно хороша осенью, когда на Фонтанах, в парке и на Лонжероне много гуляющих и катающихся, когда стоит теплая, но не жаркая погода и морской воздух особенно приятен и чист. В такую погоду рысаки на городском ипподроме бежали особенно резво. Я решил взять на всю осень Фурию в Одессу с тем, чтобы вполне насладиться резвой, нарядной ездой и красотами города и ближайших окрестностей. Брат быстро прислал кучера, а упряжи и экипажей у него было сколько угодно. Он любил хорошие выезды, и года не проходило, чтобы он не подкупал новые экипажи, сбрую. Словом, все было быстро слажено и Фурию начали ездить по утрам по городу. Прошло несколько дней, и я спросил брата, как кобыла. «Ничего, привыкает», – ответил он мне и перевел разговор на другую тему. В следующий раз, когда я спросил его про Фурию, ответ был такой же уклончивый – по-видимому, мне готовился какой-то сюрприз. Через несколько дней брат сообщил, что Фурия будет мне подана к шести часам вечера. Он сам приехал на ней, и я вышел из гостиницы «Лондонская», где тогда жил. Фурия в легкой, изящной одиночке-«эгоистке» на красном ходу, в наборной, тонкого ремня сбруе была удивительно хороша! Она красиво держала голову и шею, шла эффектным воздушным ходом и на езде отделяла хвост, держа его султаном. Несколько раз кучер проехал мимо меня сдержанной рысью по Николаевскому бульвару, где уже гуляла публика. Я пришел в восторг от кобылы и должен откровенно сказать, что после редко видел такую блестящую и эффектную одиночку. Немало этому способствовала и масть кобылы – она переливалась и отражалась многими нежными оттенками от падавших на нее солнечных лучей. Возле нас сейчас же собралась толпа зевак, которые любовались кобылой, а на противоположной стороне бульвара публика приостанавливалась. Только я хотел сесть и ехать кататься, как ко мне быстро подошел Пуриц, местный богач, владелец самого крупного ювелирного магазина в городе и домовладелец. Пуриц имел городских и призовых лошадей. Это был еще молодой человек, красавец-еврей, местный ловелас и сердцеед. Одесситы звали его «наш Саша Пуриц» или же «гроссе Пуриц», имея в виду его богатство. «Продайте кобылу, Яков Иванович, предлагаю вам 800 рублей», – сказал «гроссе Пуриц». «Нет, не продаю», – ответил я. Пуриц загорелся и, как страстный человек, стал делать надбавки и наконец назвал сумму в 1500 рублей. Цена для Одессы за кобылу была действительно внушительная, но я отказался ее продать, сел в «эгоистку» и уехал. А Фурия стала популярнейшей лошадью в Одессе. Новости в южных городах, в особенности таких оживленных, как Одесса, разно-

сятся с быстротою молнии. А потому уже вечером во всех кофейнях – и у Фанкони, и у Робина, и у Семадени – только и было разговоров, что про Сашу Пурица и про то, что он давал за кобылу 1500 рублей. «И подумайте, этот сумасшедший помещик не согласился ее продать!» – добавляли одесситы и пожимали плечами.

По конным заводам

Мое увлечение знаменитым производителем Полканом 3-м и всем его выдающимся потомством началось очень давно, еще со школьной скамьи. Я был в третьем классе гимназии, когда мое детское воображение было заинтриговано значением слова «Полкан» и я, недолго думая, задал учителю русского языка вопрос, что оно означает. Тот спросил меня, почему именно интересует меня это слово. Я объяснил, в чем дело. Учитель сделал мне выговор: мол, вместо того, чтобы хорошо учиться, я думаю только о лошадях и задаю ему праздные вопросы. «В следующий раз вы будете наказаны», – добавил он. Прошло несколько дней, и, к большому моему удивлению и удовольствию, после классов тот же учитель, отозвав меня, сказал, что Полкан – имя собственное и упоминается в старых былинах. Он процитировал строку, которая навсегда врезалась мне в память: «Полкан-богатырь, сын Иванович». Затем он сказал: «Несомненно, интересующая вас лошадь названа в честь этого богатыря». Я считаю это объяснение верным и полагаю, что знаменитый хреновской Полкан был назван в память знаменитого богатыря времен Владимира Красное Солнышко.⁸⁷

В то давно прошедшее время моё увлечение Полканом 3-м было чисто интуитивное. Позднее, по мере изучения этой линии, я ясно увидел, что чутье меня не обмануло: Полкан 3-й был действительно необыкновенной, прямо-таки феноменальной во всех отношениях лошастью. Я до сих пор остаюсь верен Полкану 3-му и неустанно продолжаю изучать и собирать материалы о нем и его потомстве. Моим фаворитным жеребцом был Полкан 6-й, внук Полкана 3-го, а среди потомства Полкана 6-го я отдавал предпочтение его сыну Полканчику и внуку Потешному. Потешный был моим кумиром, о нем я часто думал, говорил и писал. Свои симпатии я перенес на его потомство, из всех сыновей Потешного моим любимцем был Бережливый. Это имя я избрал своим псевдонимом.

Заводская деятельность Бережливого почти целиком протекала на Юге, в Киевской губернии, у Ф. А. Терещенко. Мальчиком в Одессе, потом юношей там же, а также в Киеве и Елисаветграде, куда я ездил иногда с отцом, я видел детей Бережливого, много слышал легендарных рассказов о красоте этой лошади, и всё это так подогрело мой интерес к Бережливому, что я стал мечтать о поездке на завод Ф. А. Терещенко. Осуществить эту поездку мне удалось, когда я был в шестом классе кадетского корпуса, то есть в 1898 году. В то время мне было 17 лет, и я получил от отца деньги и разрешение ехать в Киевскую губернию. Это было своего рода паломничество. Я предпринял эту поездку с таким же трепетом и благоговением, как человек, отправляющийся к святым местам. Когда я, подъезжая к имению Терещенко, впервые увидел конюшни, где стоял Бережливый, сердце мое учащенно забилося, я готов был выпрыгнуть из тарантаса, лишь бы поскорее увидеть уцелевших потомков знаменитого жеребца. Не могу ручаться за полную достоверность того, что сейчас сообщу о возвышении рода Терещенко, но я слышал об этом от людей, заслуживающих доверия.

Артём Терещенко был в свое время пастухом при отаре овец. Однако малый способный, стремившийся к обогащению и достигший его, сколотив всеми правдами и неправдами небольшие деньжонки, он обосновался на хуторе возле города Глухова и там вел хозяйство и торговал скотом. У него было три сына: Никола, Фёдор и Семён. Никола Терещенко является создателем всего колоссального состояния семьи. Он, по отзывам всех знавших его лиц, был человеком гениальным. Свое состояние он нажил, когда стал строить сахарные заводы и скупать имения разорившихся помещиков. Терещенко скупал дворянские имения за грош, закладывал их, покупал новые, ставил образцово хозяйство. Кроме того, он вел большую

⁸⁷ Полкан, – персонаж французской сказки о Бове, перевод и пересказы которой известны в России с XVII в. Это богатырь-чудовище, полупес-получеловек, в некоторых вариантах полуконь – кентавр, каждый его скачок на семь верст.

торговлю скотом и шерстью и делал большие поставки интендантству. Злые языки говорили, что во время Севастопольской кампании Никола сильно разбогател на фальшивых деньгах, ловко их сбыв и пошел в гору. Но лично я считаю этот слух неверным, вызванным завистью к непонятному, прямо-таки сказочному обогащению. Я опровергаю это гнусное предположение, потому что в свое время то же самое говорили про одного соседа моего отца, богатейшего человека, исключительно порядочного.

Никола Терещенко, несомненно, первый воспользовался кризисом 1861 года. Он понял, что это временное падение цен на земли, и, действуя умно и дальновидно, скупив имения за бесценок, он положил прочное основание своему грандиозному богатству. После севастопольской кампании началось его феерическое обогащение и вскоре Терещенки стали богатейшими людьми в Юго-Западном крае. Их имя стало прямо-таки нарицательным, синонимом миллионов и сказочного богатства. Николу Терещенку все удавалось, состояние его быстро росло, и он оставил двум своим сыновьям около тридцати миллионов рублей. Я могу привести весьма интересный штрих, рисующий Николу Терещенку как человека удивительного ума и всесторонней деловитости. Старик Золотницкий, которого я знал, был одним из крупнейших антикваров в России. Он постоянно жил в Киеве, где имел магазины. Свое состояние Золотницкий нажил тем, что скупал у разорившихся польских магнатов их обстановку и перепродавал наиболее ценные вещи за границу. Золотницкий мало интересовался российскими покупателями и нашим рынком, его магазины занимались не столько продажей, сколько скупкой разных антиков. К нему везли все, что было ценного, все, что продавалось из редкостей. Лучшие вещи даже не выставлялись в магазине, а два раза в год сам старик Золотницкий в сопровождении своего любимого сына Яши, вкрадчивого красавца, выезжал в Европу и там продавал скупленные в Юго-Западном крае ценности. Золотницкий особенно гордился тем, что был поставщиком английского короля, и любил говорить своим покупателям, что он не только поставщик Британского Двора, но что Его Величество с ним милостиво беседует и просит его не забывать и привозить антики. Делал он также крупные дела и среди английской знати. Так вот, этот самый Золотницкий рассказал мне однажды, как подкузьмил его Никола Терещенко.

В Волынской губернии было богатейшее имение графа Х., дворец которого был «набит», по меткому выражению киевского антиквара, редкостями. Золотницкий, как коршун, следил за графом, ибо ни для кого не было секретом, что дни его сочтены, что рано или поздно все будет продано. «Роковой момент приближался, – рассказывал мне Золотницкий, причем глаза его в эту минуту, как у каждого страстного охотника, горели, а голос дрожал от возбуждения, – и я был вызван наконец моим агентом по телеграфу. К несчастью, что-то меня задержало дня на три в Киеве, и когда я приехал к графу, то оказалось, что все имение вместе с обстановкой купил Никола Терещенко. Я был вне себя от горя и сорвал свою злобу на бедном моем комиссионере, хотя он был и ни при чем. Тот меня успокаивал: «Что вы, господин Золотницкий, горюете, купите еще дешевле. Что этот мужик и сын пастуха понимает в антиках?» В тот же день я повидался с «мужиком». Он наотрез отказался продать обстановку, всё опечатав и ключи взял себе, приставив к дворцу двух сторожей. Как я ни бился, так и не мог ничего с ним поделать и уехал в Киев. Я тогда пропустил такое дело, что второго такого уже во всю мою жизнь мне не представилось!» Яша Золотницкий, присутствовавший при этом разговоре, шепотом сказал мне: «Ох, боже мой! Сколько папаша тогда потерял денег!» Старик Золотницкий справился с охватившим его волнением и так закончил свой рассказ: «Через полчаса узнаю, что Никола Терещенко сам поехал за границу, повез списки вещей, вернулся оттуда с двумя антикварами и так им продал обстановку дворца, что имение ему пришлось задаром! Впрочем, удивляться нечему, так как там были вещи Марии-Антуанетты, и вся печать Европы говорила об этом деле. Вот каков был этот мужик и сын пастуха! Да, это был гениальный человек!» Итак, Никола Артёмович Терещенко был созда-

телем состояния. Но этого мало. Он руководил делом обогащения своих братьев – Фёдора и Семёна. Федор оказался способным учеником, ему во всем везло, а потому он оставил своим наследникам состояние в 10 или 15 миллионов. Семён был сравнительно неудачником и оставил своему сыну два или три миллиона. Среди Терещенок семья Семёна считалась бедной и о ней отзывались покровительственно.

Рысаки заводов Ф. А., С. А., Ф. Ф., А. Н., И. Н. и К. С. Терещенко имели весьма много общего, ибо все Терещенки были очень дружны между собою, друг друга поддерживали и сплошь и рядом обменивались рысаками или же покупали их у своих. Таким образом возникла династия Терещенок – коннозаводчиков, и лошади их заводов имели большое влияние на коннозаводство нашей страны.

Я хорошо знал Александра Николаевича и пользовался его расположением. Когда он умер (а это произошло в октябре 1911 года), газеты оповестили о его смерти всю Россию, причем было сказано, что после него осталось состояние в 53 миллиона рублей! Это был мужчина среднего роста, сухощавый и крепкий на вид. Он не был красив и имел довольно заурядное лицо. Редко улыбался, от него трудно было дожидаться живого слова, и казалось, что все его страсти подчинены рассудку. В этом отношении он напоминал скорее иностранца, чем русского. Дома он говорил очень мало, сидел подолгу в своем кабинете, погруженный в размышления, и там же принимал доклады подчиненных и решал свои дела. В общем, это был человек довольно суровый, но справедливый, недостаточно живой и, быть может, несколько черствый. Была у него еще одна черта характера – бережливость: его нельзя было назвать скупым, но деньгам он знал счет и не любил их понапрасну выпускать из рук. Мне казалось, что этот человек ничего не любил в жизни и ничем особенно не увлекался. Быть может, обладание таким огромным состоянием, сознание, что в любое время он может все купить и получить за свои деньги, сделало его равнодушным ко всему.

Лошадей он также не любил, вернее, не любил тою любовью, которой их любим мы, настоящие охотники, и которая иногда доходит до фанатизма. И все же где-то глубоко в его сердце, в каком-то потаенном уголке, теплился священный огонек любви к лошади. Завод он продержал почти что до самой своей смерти. Спортсменом он не был и бегами не увлекался. В лошадях он разбирался недурно. Однажды я смотрел завод в его присутствии и был поражен здравостью его суждений. Человек он был умный и, как истый хохол, конечно, себе на уме. И был очень упрям: уж если втемяшится что-то в голову, разубедить его было почти невозможно. Ему нравились густые, дельные и красивые рысаки, так называемый городской сорт лошадей. С 1900 года до окончательной ликвидации завода там стали производить призовых лошадей. Перемена направления имеет свои причины. Именно в это время начался расцвет дел в Киевском беговом обществе, где главным деятелем был барон Николай Карлович фон Мекк (1837–1929). Мекк просил Терещенко завести призовую конюшню и поддерживать Киевский ипподром. На это Терещенко своего согласия не дал и заявил, что призовой охотой заниматься не будет. Однако фон Мекк вновь и вновь возвращался к тому же вопросу, и наконец Терещенко согласился отдать в аренду лучших молодых лошадей, но с тем, чтобы они бежали не от его имени.⁸⁸

На завод Н. К. фон Мекка моя поездка состоялась весной 1904 года. Помимо желания осмотреть этот завод, у меня было также намерение взглянуть на свою любимицу Кашу. Я

⁸⁸ В своих описаниях конных заводов Бутович объяснил, почему Терещенко сторонился бегов. У него был единственный сын и наследник, мальчик полюбил лошадей. А. Н. Терещенко испугался за сына и решил ликвидировать завод, вспомнив заветы своего отца, который говорил о конном деле как о пустом занятии и всякому, кто им увлекался, предрекал разорение. А. Н. Терещенко всё-таки потерял сына, наследником всего семейного дела Терещенко стал племянник Александра Николаевича – Михаил Иванович Терещенко, покровитель Александра Блока, министр Временного Правительства, один из тех деятелей, кого Бутович причисляет к виновникам революции и губителям России, о чём он не раз говорит.

послал ее в завод фон Мекка для случки с Вулканом, которого считал резвейшим сыном Бережливого.

Николай Карлович фон Мекк был выдающимся дельцом в широком и лучшем смысле этого слова и одной из значительных фигур в Москве. Мекка знала вся Москва, не только деловая, но и дворянская, он занимал видное положение в обществе. Я хорошо знал фон Мекка и очень ценил его как убежденного и ярого сторонника орловского рысака. На этой почве и произошло наше сближение. Н. К. фон Мекк не шел ни на какие компромиссы в вопросе метизации. Он первый и единственный имел мужество в Киевском беговом обществе не допускать метисов к состязаниям. Вследствие этого у фон Мекка было много врагов, но история воздаст ему должное как энергичному, стойкому и убежденному борцу за орловского рысака.

Николай Карлович фон Мекк родился в Москве в семье выдающегося инженера, который сделал состояние на постройке железных дорог. Это было время, когда буквально всю Россию охватило железнодорожное строительство. Фон Мекк вместе с Дервизом были едва ли не главными концессионерами. Это время превосходно описано Терпигоревым в его многочисленных рассказах и очерках.⁸⁹ Молодой Мекк блестяще окончил Институт путей сообщения и стал работать с отцом в той же области. Как человек очень умный, образованный и чрезвычайно дельный, он имел большой успех на избранном им поприще. Я познакомился с ним, когда он был уже председателем правления Московско-Казанской железной дороги и владельцем большого количества акций этого железнодорожного предприятия. Фон Мекк был выдающийся инженер, не только теоретик, но и практик, блестящий администратор и недурной финансист. Помимо своих прямых дел, он также не чужд был банковской деятельности и работал в разных коммерческих организациях.

Фон Мекк был красивый мужчина высокого роста. Каштановые волосы с проседью он носил очень коротко постриженными; глаза у него были темно-карие, довольно большие, очень живые, пронизательные и умные. Лоб был велик и красиво обрисован, все лицо продолговато, и черты его довольно изящны. Выражение лица было спокойное, уверенное, часто серьезное, но никогда не надменное и не холодное. Николай Карлович почти всегда носил костюмы черного цвета и строгого покроя, одевался хорошо и со вкусом. Был добр и великодушен, но вместе с тем настойчив, имел твердый характер и был властный человек.

Я знал всю его семью. Женат он был на Давыдовой, она была немного надменная, но умная женщина, родилась и воспитывалась в знаменитой Каменке, представительница той исторической семьи, которой принадлежала Каменка, получившая известность благодаря событиям 1825 года, там в свое время собиралось общество замечательных русских людей.⁹⁰ От этого брака у Николая Карловича было двое сыновей и две или три дочери, сыновья обещали пойти по стопам отца. Семейство Давыдовых было из числа самых знатных среди киевского дворянства. Об одной представительнице этого рода, Екатерине Николаевне Давыдовой, урожденной графине Самойловой, племяннице князя Потёмкина-Таврического, существует большая мемуарная литература. Много писали и про других членов этой семьи,

⁸⁹ Сергей Атава-Терпигорьев (1841–1895), писатель и публицист, автор цикла очерков «Оскудение» и «Потревоженные тени», в которых описал угасание дворянства и подъем новых хозяев – предпринимателей.

⁹⁰ Речь идёт о племяннице П. И. Чайковского, дочери его сестры Александры Ильиничны, Анне Львовне фон Мекк, внучке декабриста Василия Львовича Давыдова, председателя Каменской управы Южного общества декабристов. Пушкин дружил с Давыдовыми, останавливался в Каменке и во время своей южной ссылки написал здесь ряд стихотворений и закончил поэму «Кавказский пленник». Чайковский подолгу жил в Каменке у своей сестры, здесь он создал оперу «Евгений Онегин» и балет «Лебединое озеро». «Я могу быть счастлив или в Каменке, или в одиночестве, и середины между этим нет», – писал Чайковский Н. Ф. фон Мекк. Надежда Филаретовна фон Мекк (1831–1894), вдова железнодорожного магната Карла фон Мекка, финансово поддерживала композитора. Н. К. Мекк – её сын. Чайковскому он как муж племянницы приходился свойственником. «Какой очаровательный человек этот добрый Коля...» – писал в своем дневнике Чайковский о Николае Карловиче фон Мекк.

например про генерала Раевского, защитника Смоленска, героя Бородина, два сына которого были друзьями Пушкина. В Каменке было 17 тысяч десятин земли. Это громадное имение было наследовано Давыдовой от князя Потёмкина. Словом, г-жа Мекк имела очень большие связи не только среди киевского, но и среди российского дворянства.

Фон Мекк призовым делом не интересовался, предпочитая продавать или же отдавать в аренду своих лошадей. Став действительным членом Московского бегового общества, он вскоре был избран старшим членом и судьей у звонка – доверие, которого удостоивались немногие, – но пробыл в этой почетной должности сравнительно недолго. Об уходе фон Мекка сожалели многие, но он не мог поступить иначе. В то время в Московском беговом обществе атмосфера была нездоровой: царили интриги, были партии, преследовались зачастую личные интересы. Мекк был человек очень властный, требовательный и крайне работоспособный, все это также не нравилось его коллегам по правлению. Великий князь Дмитрий Константинович внимательно следил за всем, что делалось в спортивной и коннозаводской России. Он назначил Николая Карловича членом особой постоянной комиссии по изданию заводских книг и выяснению спорных вопросов генеалогии. Фон Мекк с его спокойным, верным и трезвым взглядом на генеалогию орловского рысака был очень полезным, прямо-таки необходимым членом этой комиссии. Мне немало приходилось общаться с фон Мекком на коннозаводские темы, и я должен сказать, что это был не только интересный, но и весьма знающий собеседник. Главной коннозаводской заслугой фон Мекка я считаю преобразование Киевского бегового общества и установление там полного запрета бежать метисам. Ни до, ни после никто не имел смелости это сделать, только фон Мекк с его железной волей смог это провести. Киевское беговое общество, первое среди всех провинциальных беговых обществ России, пришло в полный упадок и стало арендой вечных скандалов, дрызг и интриг. Разложение там дошло до таких пределов, что великий князь решил положить этому конец. Он вызвал Николая Карловича в Петербург. Фон Мекк посоветовал великому князю радикальные меры: закрыть общество и затем поручить кому-либо образовать новое. Великий князь, человек по натуре мягкий и деликатный, колебался. Тогда фон Мекк нарисовал ему ясную и точную картину безобразий, которые творились в Киевском беговом обществе. Ему удалось убедить великого князя. Киевское общество было закрыто, а фон Мекк через полгода после этого создал Юго-Западное общество поощрения рысистого коннозаводства.

Вокруг фон Мекка в новом обществе сгруппировались все здоровые спортивные элементы Киева. При фон Мекке общество достигло расцвета. При нем в Киеве на бегу царил образцовый порядок, он создал общество для поощрения только лошадей орловского происхождения. При том влиянии, которое имели тогда метизаторы, сделать это было нелегко, пойти на такое мог только фон Мекк. Я отдаю ему должное и считаю это его величайшей заслугой перед орловским рысаком.⁹¹

У фон Мекка был старший брат Владимир, который рано умер. Он очень интересовался лошадьми, имел конный завод при селе Рахманове Можайского уезда Московской губернии, неподалеку от знаменитой Можайской дороги, так памятной всем русским людям по 1812 году и роману Толстого «Война и мир». Имение это находилось часах в пяти езды от Москвы, и ввиду всеобщего к нему расположения и чисто русского хлебосольства хозяев, чудный, уютный дом его был почти всегда переполнен друзьями и знакомыми. В имении был сделан ипподром, на котором очень часто устраивались бега, а всегда любезная хозяйка придумы-

⁹¹ Бутович едва ли предполагал, что его послереволюционная судьба повторит судьбу Н. К. фон Мекка. Тот, продолжал работать в системе железнодорожного транспорта, в аппарате Народного комиссариата путей сообщения (НКПС), однако подвергался политическим преследованиям и арестам. Всякий раз фон Мекк оказывался освобожден либо под поручительство коллегии НКПС, либо Президиума ВЧК. Так было пока во главе НКПС и ВЧК стоял Ф. Э. Дзержинский, который умер в 1927 г. В 1929 г., фон Мекк был арестован как участник «контрреволюционной вредительской организации в НКПС» и расстрелян по постановлению судебного заседания коллегии ОГПУ. В 1991 г. реабилитирован.

вала и призы. Славное, чудное было время! Вот на этих-то импровизированных бегах, где обыкновенно жребий определял, кому на какой лошади ехать, я в большинстве случаев был счастливец фортуны и за езду получал от знатоков и охотников, присутствовавших на этих испытаниях, неоднократные похвалы и одобрения. Как теперь вижу наших ветеранов и бойцов. Слышу их споры, остроты, звучащую в каждом их слове страсть к охоте... А теперь? Нет! Лучше буду продолжать.

Завод Г. Г. Елисеева я посетил трижды, хорошо знал этот завод и видел его в разную пору. Григорий Григорьевич Елисеев был младшим сыном известного петербургского богача. Говорили, что когда старик Елисеев умер, то состояние его равнялось 50 миллионам рублей. Начало этому колоссальному состоянию положил еще дед Гриши Елисеева. Состояние было нажито торговлей колониальными товарами, а потом заключалось уже в самых разнообразных ценностях, делах и предприятиях. Елисеевы оказались верны тому делу, которое их обогатило, и два знаменитых магазина с гастрономическими товарами в Москве и Петербурге напоминали всем и каждому о том, как создали свое благосостояние эти богатейшие люди России. Их фирма существовала более века, и на долю Г. Г. Елисеева выпало счастье праздновать этот замечательный юбилей. Он этим очень гордился и был совершенно прав.

Жил Григорий Григорьевич всегда в Петербурге, на Васильевском острове ему принадлежало громадное владение. Там же находились и знаменитые Елисеевские погреба с лучшими винами, которые в них лежали чуть ли не сотню лет и, конечно, не предназначались для продажи. Об этом говорили мне знатоки. Елисеев любил дарить в исключительных случаях одну-две, а иногда и больше бутылок такого вина, и я дважды удостоился подобного внимания.

Особняк, в котором жил Елисеев, был обставлен с большою роскошью. Из произведений искусства, которые могли бы заинтересовать охотника, у Елисеева были замечательные часы, исполненные по заказу его супруги известным скульптором Лансере, со многими чрезвычайно удачными фигурами лошадей.

Все в этом доме, начиная от швейцаров и лакеев, было поставлено на барскую ногу. Словом, Елисеев жил не так, как жили богатейшие представители московского купечества, он жил по-петербургски. Близость Царского Двора, общение с аристократией и высшими чиновниками столицы, влияние Европы, самый уклад столичной жизни – все это наложило свой отпечаток на представителей петербургского купечества.

Елисеев был воспитанный, образованный, очень мягкий и чрезвычайно деликатный человек. Был некрасив, но в его улыбке и мягкой, несколько певучей манере говорить было что-то располагающее и удивительно приятное. Это был умный собеседник, человек, которого знал, уважал и ценил весь Петербург. При том богатстве, которым он обладал, его, конечно, осаждали разного рода просители и дельцы, а потому двери его дома тщательно охранялись. Попасть к Елисееву было нелегко, но вороной Рыцарь, принадлежавший моему отцу, а потом и мне, открыл передо мной двери этого дома.

Рыцарь – лошадь очень высокого происхождения. Если бы у нас существовала коннозаводская энциклопедия, то в ней Рыцарю было бы посвящено немало страниц. Рыцарь – сын колюбакинского Варвара, одной из лучших и резвейших лошадей своего времени. Мать Рыцаря, вороная кобыла Разбойница, была внучкой Велизария и Разгулы, Молодецкий – сын знаменитого болдаревского Чародея и сапожниковской Радости. И Молодецкий, и Радость выигрывали, причем последняя была дочерью знаменитого серого Кролика завода графа Соллогуба. Этого Кролика принято называть сапожниковским: он погиб во время пожара в заводе Сапожникова, пробыв там всего один случайный сезон. Рыцарь был вороной масти, необыкновенно густ, капитален, широк и делен. При большом росте и большой массе – сух, а это довольно редкое явление для лошадей подобного чекана. У него была маленькая голова, несколько мясистая, но с хорошим выходом шея, превосходная спина, хороший окорок и

такие же передние и задние ноги. На этой лошади, с моей точки зрения, было чересчур много мяса, но в то время это ставили в особую заслугу. Отличительной чертой Рыцаря была его необыкновенная ширина: он так широко стоял передом, что между его передними ногами можно было пролезть. При этом он был чуть косолап. В то время шириной постанова ног увлекались чрезмерно и Рыцаря считали выдающейся лошадей: думали, что в таком постанове кроется резвость и страшная сила. Разумеется, это ошибочно.

По типу Рыцарь более всего приближался к улучшенному голландскому рысаку. Рыцарь был лошадей не моего романа, но я должен признать, что он был по-своему выдающимся жеребцом и у него было много поклонников. Рыцарь ехал очень красиво: у него был длинный, низкий, ползучий ход, а сам он вытягивался прямо-таки в ниточку. Приняв во внимание его массу, картинную русскую запряжку и манеру вытягиваться на езде, нельзя не признать, что это должно было глубоко впечатлять зрителя. Многие, если не все, слышали о необычайной резвости Рыцаря и о том, что его продали моему отцу. Отец не держал призовой конюшни и, оставляя ежегодно для своей езды двух-трех лошадей, всех остальных продавал. Рыцаря торговали многие коннозаводчики. Известность Рыцаря была столь велика, что Елисееву я за крупные деньги продал его, когда ему было уже двадцать лет.

Елисеев любил лошадей, всю свою жизнь он вел конный завод и, как человек умный и обладавший большой долей здравого смысла, хорошо стал в них разбираться, хотя на заводе бывал не чаще двух раз в год. Я считаю, что Елисеев лучше нас, то есть людей, всецело посвятивших себя коннозаводскому искусству, знал, как надо вести конный завод, и вел его превосходно. Елисеев вскоре заметил, что все «разные» по себе жеребцы разрушают тип в заводе и настолько ухудшают экстерьер ставок, что молодежь с трудом находит покупателей. В коннозаводских кругах критически заговорили об экспериментах Елисеева. Он выгнал из завода «модных» жеребцов и вернулся к давно проверенным старикам, к их сыновьям и внукам.

Для своей же утехи, или, как он говорил, потехи, завел отделение лошадей иностранных пород. Тут были американские лошади, англо-норманны, шотландские пони и пр. При заводе было создано призовое отделение с крайне узким и односторонним назначением – производить только резвых лошадей, не обращая внимания на их формы. Тем временем основной завод, то есть то, что Елисеев полюбил, понял и оценил, жил правильной жизнью, улучшался, развивался и вернул себе былую славу. Так дело шло вплоть до страшной гибели этого завода в 1918 году. Знаменитый рассадник орловской рысистой лошади – завод Елисеева – целиком погиб после революции. Теперь он был бы так необходим для восстановления равновесия форм в орловском рысистом коннозаводстве страны...

Из завода Г. Г. Елисеева я проехал на завод графа Г. И. Рибопьера. До Святых Гор было сравнительно недалеко, я и решил предпринять эту поездку.

Святые Горы – название местности на правом берегу Северного Донца, в Изюмском уезде Харьковской губернии. Ближайший уездный город находится в 30 верстах от имения. Местность эта историческая, свое название она получила от Святогорского Успенского мужского монастыря, который здесь расположен. Монастырь был основан в 1624 году и служил одним из оплотов во время набегов крымских татар. Меловые скалы, покрытые сосновым и дубовым лесом, извивающийся среди них Донец, белеющие здания отчасти высеченного в пещерах монастыря, поодаль возвышающийся потёмкинских времен дворец – всё это было красиво и производило величественное впечатление.

Богатый монастырь привлекал многих богомольцев и просто туристов, а потому вокруг монастыря вырос целый городок: лавки, кирпичные и известковые заводы, различные монастырские мастерские, образцовая ферма, школа, больница. Дважды в год здесь собиралась большая ярмарка. Помимо монастырской земли и наделов крестьян, вся остальная земля в этом живописном уголке Изюмского уезда принадлежала графу Рибопьеру. Он был одним из

богачейших помещиков не только в Харьковской губернии, но и вообще в России. Ему еще принадлежало громадное имение в Симбирской губернии и такое же имение в Кромском уезде Орловской губернии.

Возвышение этой семьи начинается со времен Екатерины. По одной версии предок Рибопьера бежал из Франции во время Великой Революции, а по другой – он был якобы швейцарским уроженцем и состоял при дворе Екатерины в качестве ее парикмахера. Был очень красив, звали его Пьер. Екатерина будто бы часто ему говорила: «*Rie, beau Pierre*», то есть «Смейся, красивый Пётр». Эти три французских слова и составили фамилию Рибопьер. Весьма возможно, что это лишь анекдот, основанный на игре слов.

Граф Рибопьер не был знатоком генеалогии орловского рысака, но этот талантливый и культурный человек сознавал все ее значение и превосходно знал генеалогию своих собственных рысистых лошадей. Рибопьер внимательно следил за коннозаводской литературой и был в курсе всех модных течений в рысистом деле. Возвышение Вармиков, охлаждение к Бычкам, фантастический успех Корешков – всему этому он давал верную и трезвую оценку. Мне не раз приходилось удивляться его прозорливости, и нередко его предсказания сбывались с поразительной точностью.

Осенью 1911 года я впервые посетил когда-то знаменитый дурасовский завод, родину Полкана. Этот завод после смерти Дурасова перешел в собственность его жены, по второму браку графини Александры Федоровны Толстой.⁹² У графини я приобрел шесть кобыл. Я был так поражен составом завода графини, так увлечен сухостью и старинными формами ее маток, их высоким происхождением, что взял все, что графиня могла мне тогда уступить. Все кобылы, за исключением Ракеты и Хартии, были породны, блестящие, дельны и сухи, но мелковаты. Ракету и Хартию я взял, что называется, из жадности. Когда их привели в Прилепы, я понял свою ошибку и сейчас же назначил их в продажу. Они были проданы графу Андрею Львовичу Толстому.

Я поехал в Пальню на поклон к маститому коннозаводчику А. А. Стаховичу. Купить у него что-либо мне было не по карману, и от него я направился к одному из Красовских – Павлу Афанасьевичу. Красовский очень любил свою кобылу Дузе и не хотел ее продавать, но я соблазнил его ценой. Но я не раз замечал: если коннозаводчик неохотно уступает кобылу и жалеет о ней, счастья новому владельцу с такой лошастью не будет. Так случилось и на этот раз. Дузе, придя ко мне, через месяц, будучи, казалось, совершенно здоровой, неожиданно пала.

От Красовского я поехал к Н. В. Хрущову и у него купил белую кобылу Офелию, лучшую кобылу в табуне Хрущова, и он продал ее мне только потому, что через несколько дней ему предстоял срочный платеж в Дворянский банк, а денег свободных, да и никаких других, не было. Дело происходило осенью, хлеб был еще не продан, а платить надо было в срок, и Хрущов решил уступить мне кобылу.

По этому поводу я невольно вспомнил Коноплина. Дело было в Лотарёве у князя Вяземского. Мы сидели за чаем. Кроме Коноплина и меня, других гостей не было. Вяземский рассказывал о том, как он однажды торговал у одного мелкопоместного соседа очень интересную кобылу, и тот ее не уступил, а через некоторое время значительно дешевле продал эту кобылу барышникам. Вяземский возмущался, а Коноплин сказал: «Леонид Дмитриевич, вы напрасно возмущаетесь. Вы сами виноваты, так как не умеете покупать лошадей у таких людей!» – «Почему?» – удивился князь. «Да потому, – отвечал Коноплин, – что эти люди не переносят вида денег. Если бы вы, торгуя кобылу, при этом вынули пачку ассигнаций,

⁹² Овдовев после смерти Дурасова, Александра Федоровна вышла замуж за престарелого Александра Николаевича Толстого, вскоре скончавшегося, у его дочерей А. Ф. Толстая отсудила его обширные владения и развернула передовое хозяйство. А. Н. Толстой принадлежал к другой ветви обширного семейства Толстых, чем Л. Н. Толстой, отношения между ними, насколько известно, не поддерживались.

показали ему, да еще и поскрипели бы ими, – и Коноплин показал пальцами, как это надо делать, – ваш сосед не выдержал бы и схватил деньги, а кобыла была бы вашей». Все мы от души рассмеялись, а Коноплин добавил, что если бы дело было к тому же осенью, перед платежом в Дворянский банк, то князь, показав деньги, купил бы кобылу легко. А иначе купить у этих господ лошадь немыслимо, и барышники это прекрасно знают. Я вспомнил этот рассказ к слову, но должен оговориться, что Хрущов был, конечно, не из числа таких господ, но и он, как все мы, грешные, иногда сидел без денег.

Л. А. Руссо, которого я посетил, был убежденнейшим сторонником американского рысака и ярим пропагандистом орлово-американского скрещивания. Лошади, рожденные в его заводе под Кишеневым, своими успехами, начиная с 1897–1898 годов, обратили на себя всеобщее внимание. Тогда началось чуть ли не поголовное увлечение метизацией: русские коннозаводчики, которые разводили призовых рысаков, выписывали американских жеребцов и кобыл, лучшие заводы того времени перешли на метизацию. Это движение все расширялось, а через 10–15 лет достигло своей кульминационной точки. Вскоре после этого в рысистом коннозаводстве страны установилось известное равновесие: орловский рысак с появлением Крепыша, Палача, Барина-Молодого, группы детей Корешка и Леска вновь завоевал утраченное положение и возвратил себе былую славу. Оба направления жестоко конкурировали друг с другом. Так продолжалась до самой революции.

Леонид Александрович Руссо, несомненно, очень крупная фигура, я причисляю его к немногим в России коннозаводчикам, которые умели воспитывать лошадей, хорошо их кормили, обращали должное внимание на тренировку и своим успехом были обязаны трудолюбию, знаниям и любви к делу. На фоне русской жизни того времени людей подобного типа, к сожалению, было немного...

После обеда мы с Руссо поехали смотреть его лес, который он сам насадил и очень любил, а также виноградники. Лес содержался превосходно, но был невелик. Виноградники располагались террасами на склоне очень крутой горы. Дорога долго подымалась вверх, ехали мы на метисе, в легком, выписанном из Америки шарабане. Подъем совершали шагом, но лошадь горячилась. Не прошло и нескольких минут, как лошадь чего-то испугалась, дернула и хотела подхватить. Руссо резко принял ее на вожжи, и в это время у него, на наше несчастье, слетело пенсне. Он попытался его подхватить на лету, и в это мгновение спустил вожжи. Перепуганная лошадь понесла. Мы мчались по узкой дороге прямо по отвесной скале, и я совершенно ясно видел, что положение катастрофическое: если бы лошадь свернула немного в сторону, мы неминуемо кубарем покатались бы вниз. Руссо тоже понял опасность положения и крикнул мне: «Выскакивайте!» Почти одновременно мы выскочили из низкого шарабана и, к счастью, не переломали ног, но порядочно испугались, порвали одежду и исцарапались. Для меня падение прошло сравнительно благополучно, но Руссо, который был много старше и тучнее меня, повредил ногу. Лошадь, запутавшись в вожжах, упала, начала биться и покатила через голову вниз. Нечего и говорить, что лошадь была навсегда изуродована, шарабан вдребезги изломан, а сбруя порвана. В деревне молдаване первые заметили, что на горе случилось несчастье, и с криками бежали к нам. В усадьбе тоже поднялась тревога. Тем временем мы с Руссо, придя в себя, обменивались впечатлениями, и Леонид Александрович шутя сказал: «Орловцы обязательно скажут, что Руссо покушался на жизнь Бутовича».

Приехав в Курск, я остановился в гостинице Полторацкого, лучшей в городе. В свое время дом, где размещалась эта гостиница, был богатейшим особняком и принадлежал до освобождения крестьян Губернскому Предводителю. Здесь давались пиры на всю губернию, здесь танцевала вся курская знать, но все это отошло в предания, и красивейший дом был превращен в гостиницу. Переодевшись и отдохнув, я пошел побродить по городу. Зашел к местному старьевщику, покопался среди хлама и не нашел ничего интересного. Прогулялся

по главной улице города, зашел в сквер, съездил в городской – словом, осмотрел все достопримечательности.

Жара на улице стояла невыносимая, делать было решительно нечего, до отхода поезда оставалось несколько часов, и я решил их провести в номере за чтением газеты или очередной книжки толстого журнала. Не успел я развернуть газету, как вспомнил, что куряне неоднократно говорили мне про некоего Чунихина, который слыл среди охотников и коннозаводчиков первым знатоком генеалогии. Называли его Серёжей и добавляли: «Серёжа все породы знает. Если нужно, он даст любую справку!». Служил он у Перепёлкина, которому принадлежало в Курске крупное бакалейное дело и который был также коннозаводчиком. Я решил ехать в лавку к Перепёлкину, чтобы познакомиться с курским генеалогом.

В магазине самого Перепёлкина я не застал, он отлучился в банк, как пояснил мне расторопный мальчик в синем фартуке. Мальчик предложил провести меня к Сергею Васильевичу. «А кто это, Сергей Васильевич?» – спросил я. «Наш управляющий Чунихин», – последовал ответ. Мы вошли в небольшую комнату при магазине, здесь сидел знаменитый курский генеалог и щелкал на счетах. Против него у окна стоял другой стол, и на нем лежало несколько образцов муки: тут был и голубой, и первач, мука «два нуля» и «три нуля», и прочие сорта. Это был стол самого Перепёлкина. Навстречу мне поднялся человек маленького роста, самой невзрачной наружности, с тихим взглядом острых, несколько мутных глаз, одетый более чем скромно, даже бедно. Это и был Сергей Васильевич Чунихин. Я назвал себя. Чунихин мгновенно преобразился. Всплеснув руками, он вскочил и воскликнул: «Какое счастье, я вижу короля генеалогов!», после чего принялся меня усаживать и выражать радость от великой чести со мной познакомиться. «Давно мечтал-с, давно мечтал-с!» – добавлял он скороговоркой и сильно волновался. Это, по-видимому, был настоящий фанатик, и куряне, вероятно, не напрасно говорили про него, что он знает «все породы».

Я уселся на довольно шаткий стул, и наша беседа началась. Чунихин сначала робко, потом все смелее и смелее выкладывал свои генеалогические познания и наконец так и посыпал именами и породами. Я слушал его внимательно: он действительно знал генеалогию и обладал исключительной памятью. Это был, конечно, не Храповицкий и не Карузо, но все же очень сильный в генеалогии человек. Когда дело доходило до его любимых линий, Чунихин не говорил, а пел соловьем!

Наша беседа была в самом разгаре, когда вошел хозяин дела, сам Перепёлкин. Мы познакомились. Это был типичный провинциальный купец, однако уже пообтрепавшийся, из тех, что знали «обхождение» с господами. «Что ж не предложил Якову Ивановичу стакан чаю или рюмку вина?» Серёжа засуетился и стал извиняться. Он исчез на несколько минут и вернулся в сопровождении мальчика, который нес на подносе бутылку рейнского вина. Мы выпили по рюмке. Вино было превосходное. Перепёлкин самодовольно посмотрел на свет свою рюмку и заметил: «Каков букетец?» «Букетец недурен», – проронил я и закурил сигару. Разговор о лошадях, вернее, о породах продолжился с прежним жаром. «Ну а как насчет темных пород?» – спросил я Чунихина и задал ему несколько коварных вопросов. Перепёлкин насторожился, потом сказал: «Экзаменуйся, Серёжа!» Серёжа подумал, затем дал удовлетворительные ответы.

На этом наша беседа закончилась, а вечером весь спортивный Курск превозносил Чунихина за то, что он лицом в грязь не ударил, не посрамил курян и блестяще выдержал экзамен.

Перепёлкин начал меня упрашивать съездить к нему в завод. «От Курска верст шесть-семь, – говорил он, – к поезду успеете вернуться. А там, может, и заметку напишете о моем заводе». Купцы его пошиба страсть как любили, когда их благосклонно «пропечатывали» в газетах. Я дал согласие. Немедленно был послан мальчик за лошадьми. Вскоре к магазину подали ямскую тройку в старой, потрепанной коляске и мы вместе с Чунихиным отправи-

лись в завод. Ехать пришлось по главной улице города. Чунихин всех знал и беспрестанно раскланивался с прохожими. Коляску нашу бросало из стороны в сторону, и езда по отвратительной курской мостовой доставляла мало удовольствия. Дорога начала подыматься в гору, мы приблизились к заставе, затем выехали на Белгородское шоссе. Разговор шел о лошадях и курских охотниках. Вскоре показалась перепёлкинская усадьба.

Много путешествуя по России, осмотрев целый ряд помещичьих усадеб, я вынес впечатление, что богатые барские усадьбы обычно строились на какой-либо возвышенности, откуда гордо и величественно, окруженные бесчисленными службами, взирали на окрестности. Поместья средней руки, где жили часто очень богатые люди, обычно обосновывались на скате, в местности хотя и живописной, но менее величественной. Тут не было всех тех затей, кои украшали резиденции больших бар: английских садов, оранжерей, гротов, статуй и фонтанов, но зато всё в таких поместьях было прочно, фундаментально, а часто красиво и поэтично. Запущенные вековые парки, старые сады, березовые рощи, пруды – всё это настраивало душу на поэтический лад, и я особенно любил именно эти усадьбы дореволюционной России. Наконец, «малодушные» усадьбы, или «пучки» по-смоленски, или «мелколесные» по-рязански, гнездились обычно в тесном соседстве и редко когда отличались красотой. Тесовые, соломенные или камышовые крыши, разбросанные кое-как постройки, небольшие сады, при них огороды, где вечно роются и копаются свиньи и поросята, заросший тиной пруд – вот обычная картина таких усадеб. Перепёлкинская усадьба была именно такой, и лишь скромные здания конного завода указывали, что хозяин здесь не только прозябает, но и занимается делом. При усадьбе было очень ограниченное количество земли, перепёлкинский завод содержался на покупных кормах. Словом, во всех отношениях эта усадьба была не только скромной, но и запущенной.

Перепёлкин не кормил своих лошадей и завод вел весьма примитивно. Писать об этом было неудобно. Чтобы показать это читателю, приведу выдержку из одного моего письма, написанного под свежим впечатлением от осмотра перепёлкинского завода, письмо не предназначалось для печати: «...Был в Курске у Перепёлкина; осматривал белого Карабинера, сына знаменитой Мечты. Лошадь мне очень понравилась, хотя и имеет серьезные недостатки: безусловную сырость скакательных суставов. Завод Перепёлкина содержится, как и большинство наших заводов, то есть примитивно, а главное, все лошади поголовно худы... Ну как при таком содержании вывести орловского рысака, который бы бил метисов!». Несмотря на такое содержание, лошади Перепёлкина бежали недурно. Этим завод был всецело обязан Серёже и тому подбору кровей, который он сделал. Кровь, несмотря на все неблагоприятные условия, способна творить чудеса!

Когда мы вернулись в Курск, Чунихин ни за что не хотел оставить меня в гостинице и повез прямо в дом Перепёлкина. Хозяин меня встретил радушно, посмеиваясь, сказал: он знал, что я увлекусь лошадьми и к поезду не успею, а потому приготовил для дорогого гостя обед. В гостиной находился скотоподобный человек – как оказалось, купец из Дмитровска, захолустного уездного городишки. Он приехал, чтобы купить лошадь, которую давно торговал. За обедом, сытным, тяжелым, но вкусным, речь шла главным образом о лошадях, и Перепёлкин очень интересовался моим мнением о его рысаках. Говорить откровенно, да еще при покупателе, было неудобно, а потому я, похвалив завод вообще, не стал останавливаться на отдельных лошадях и ни слова не сказал о содержании завода.

Под конец обеда у дмитровского купца, которому Перепёлкин все время подливал вина, зашумело в голове – и он счел момент наиболее подходящим для покупки лошади. Торг начался. Я присутствовал при этой уморительной сцене. Купец мерекал в породе, а потому вступил в пререкания с Серёжей о достоинствах породы покупаемой лошади. Перепёлкин вел хитрую политику: покуда Серёжа и купец пререкались о предках Телескопа, он не забывал рюмки покупателя.

«Что ты нахваливаешь мне Телескопову породу? Подумаешь, от Нурредина, невидаль какая! Дрянь дрянью!» – и дмитровский купец торжественно оглядел всех нас. Серёжа не остался в долгу: «Как изволили сказать? Дрянь дрянью? И это про сына Приветного, отца Питомца и Прометя! Нечего сказать, удружили, Маркел Тихонович». – «А я называю дрянью-с! – упрямо заявил Маркел Тихоныч. – Ты подай мне лошадь голицынскую, либо с княжеским гербом от Вяземского. Вот это настоящие лошади! А то придумал – от Приветного! Все мы от Адама, да порода-то у твоего Приветного какая?» – «Что ж, порода самая чистая, от Нурредина». – «Ну а у Нурредина? Тоже скажешь чистая?» – Маркел Тихоныч захохотал. Серёжа не растерялся и начал ловко восхвалять материнскую линию Нурредина, не забыв упомянуть, что там есть и голицынская порода, которая так полюбилась Маркел Тихонычу. «Материнская линия? – спросил купец. – Тоже скажешь! Бабка Химкина от Бурного, а дальше что? Тьма египетская! Как хочешь, Николай Фёдорович, а четвертной билет за эту самую Химкину обязательно скину». Серёже нечего было возразить, и он стал восхвалять породу матери Телескопа.

Прошел битый час, а может, и более. Оба спорщика стали уставать. Тогда Перепёлкин как бы нехотя спросил Маркела: «Ну что ж, берешь жеребца?» Начался настоящий, ожесточенный торг. Маркел Тихонович и маленький наливчик упомянул, и голову Телескопа не одобрил, и высокую бабочку пристегнул – словом, все поставил на вид. Но жеребца в конце концов все же купил. Когда торг кончился, мы все облегченно вздохнули. Маркел Тихоныч утирал клетчатый платком обильно катившийся пот, Серёжа поздравлял его с покупкой, а Перепёлкин попросил задаточек. «Заплотим чистоганом», – сказал дмитровский купец и вывалил на стол кипу засаленных кредиток.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.